

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

# FOLIA SLAVISTICA

Рале Михайловне Цейтлин

Москва  
2000



P. Haverdson

FOLIA  
SLAVISTICA

Рале Михайловне  
Цейтлин

Сборник содержит статьи московских ученых, посвященные проблемам палеославистики, этимологии и славянской лексикологии. Статьи написаны по темам докладов, которые войдут в программу научной конференции, организуемой Институтом славяноведения РАН в честь 80-летия крупнейшего российского палеослависта Рали Михайловны Цейтлин.

### РЕДКОЛЛЕГИЯ

доктор филологических наук А. Ф. Журавлев  
(ответственный редактор),  
доктор филологических наук Г. К. Венедиктов,  
кандидат филологических наук В. С. Ефимова

Изготовление оригинал-макета издания – В. С. Ефимова

**ISBN 5-7576-0106-X**

© Институт славяноведения  
РАН, 2000

## Дунай в русской народноэтимологической реинтерпретации

Народноэтимологические преобразования слов, обязательным признаком (и сущностью) которых является изменение мотивации, по-разному отражаются в форме и семантике слов. Возможно сохранение формы слова при изменении его значения. Действие этимологической реинтерпретации этого типа надежнее всего обнаруживается несоответствием словообразовательной структуры слова его мотивации, которая подсказывается значением. Например, рус. диал. урал. *обаюдный* 'бойкий, говорливый' [СлСрУрД: 351], связываемое семантикой с *баять*, определяется как реинтерпретация, поскольку от этого глагола невозможно подобное словопроизводство. Но таких очевидных ситуаций значительно меньше, чем сомнительных, в которых затруднительно исключить возможность спонтанного развития значения и, соответственно, установить действие этимологической реинтерпретации. Так, для того же прилагательного *обаюдный* в других говорах засвидетельствованы значения 'вежливый, миролюбивый' (орл.), 'дружный' (уфим.), 'общительный, приветливый' (тул.) [СРНГ 22: 187], которые могут быть, как и приведенное выше 'говорливый', следствием реинтерпретации по глаголу *обаять*, но допускают и толкование как результат органичного развития первичной семантики: 'двусторонний' → 'взаимный' и т. д. Ср. еще просторечн. *толстовка* 'мужская рубашка из плотной теплой ткани или трикотажа': появилось ли это значение в результате переноса названия с одного типа одежды на другой или, что представляется более вероятным, слово *толстовка* было переосмыслено по непосредственной связи с *толстый* и потому приобрело новое значение?

С действием этимологической реинтерпретации данного типа могут быть связаны многие случаи семантических изменений, поскольку, вопреки довольно распространенному убеждению, народная этимология – не исключение в истории лексики, а закономерное следствие тенденции к самоорганизации, систематизации лексики (в

данном процессе – в соответствии с актуальными производящими основами и мотивационными моделями). Этимологической реинтерпретации в принципе подвержены любые лексемы, но прежде всего – деэтимологизировавшиеся и онимы, как не имеющие мотивации.

Выявление следов этимологической реинтерпретации особенно существенно при параллелизме собственных имен, имеющих сакральную или культурную значимость, и апеллятивов, которые могут быть следствием как гомогенной омонимии, так и вторичного апеллятивного функционирования онима с сопутствующей этому этимологической реинтерпретацией. В первом случае семантика апеллятива является источником важной информации о сфере порождения онима, во втором – это лишь показатель его вторичного осмысления и вхождения в новые словообразовательно-мотивационные отношения. Так, славянскому теониму *Перун* соответствуют апеллятивы рус. диал. *перун* ‘сильный гром, молния, вихрь, капризный ребенок, сильный кашель’ [СРНГ 26: 294], польск. *piorun*, диал. силез. *piéron* ‘удар молнии’, которые иногда толкуются как отражение генетического предшественника теонима – праслав. *\*perunь* ‘тот, кто поражает’, производного от *\*perti*, *\*pьrъ* ‘бить’ [Трубачев 1991: 180], но скорее являются все-таки результатом апеллятивного “снижения” теонима и его вторичного включения в гнездо глагола *\*perti* (так см. о польском апеллятиве еще [Brückner: 414]): существенно, что этот глагол не встречается в контекстах поражения громом – молнией.

Сходная дилемма возникла, кажется, в отношении гидронима *Дунай* и его апеллятивных соответствий в русском языке. Правда, диапазон толкований здесь несколько сужается, так как достаточно надежно определен этимологический источник гидронима – гот. *\*Dōnawi-*, восходящее в конечном счете к и.-е. *\*dānu-* ‘река’ [ЭССЯ 5: 156–157; SP 5: 93–94, с литературой вопроса] и признана вторичность славянских (во всяком случае, севернославянских) апеллятивов по отношению к гидрониму [SP 5: 94]. Остается, однако, вопрос о степени спонтанности, органичности развития семантики этих апеллятивов, в частности – в русских говорах.

Исходная гидронимическая функция слова *Дунай* позволяет, очевидно, считать ее спонтанными продолжениями апеллятивные употребления для обозначения различного рода водных объектов: см. польск. *dunaj* ‘далекая, неизвестная река; море; большая река; разлив реки; глубокое болото; болотистое пространство; водная

глубина; глубокая стоячая вода; бездонная глубина в колодце; родник', чеш. диал. *dunaj* 'большая река; полноводное течение реки; лужа; разлившаяся вода', рус. диал. *дунáй* 'ручеек, вытекающий из-под земли', укр. *дунáй* 'река; разлив реки; широкая, разлившаяся река; разлив воды; большое скопление воды' [ЭССЯ 5: 156; SP 5: 92–93]. Дальнейшим развитием семантики водной глубины может быть значение польск. диал. *dunaj* 'пропасть' [SP 5: 93].

Есть, однако, некоторые употребления апеллятивных соответствий гидронима, спонтанное семантическое развитие которых вызывает сомнения. Начну с самого яркого случая. В новгородских говорах записано слово *сдунайко* в значении 'неведомая сила, помогающая что-либо сделать (по поверью)', иллюстрированном следующим контекстом: *Сдунайко* – это когда мне кто помогает *сдунать* что с полу, ну мешок с картошкой [НовГСл 10: 33]. Связь слова *сдунайко* с глаголом *сдунать* здесь нарочита: глаголом объясняется значение существительного, которое предстает поэтому как отглагольное производное. Но глагол *сдунать* не представлен в этом словаре самостоятельной статьей (нет его и в других словарях), из чего можно сделать вывод об исключительности приведенной фиксации. Однако генетические связи гапакса *сдунать* прослеживаются легко. В тех же говорах есть синонимичные со *сдунать* глаголы *сдынúть* и *сдынáть* 'взять, подобрать с пола, с земли, поднять', а также *сдынúться* 'возникнуть, подняться; увеличиться в объеме, стать более рыхлым (о тесте)' [НовГСл 10: 34]. Эти глаголы являются производными славянского этимологического гнезда *\*dǫti*, *\*dǫtǫ*. К его регулярно итеративу восходит в тех же говорах глагол *сдымáть* 'поднимать что-либо; растить и воспитывать детей' [НовГСл 10: 34], а позднее образование *-нѣ*-основы и нового, производного от нее итератива дали *сдынуть* и *сдынать*; ср. также *вздынúть*, *вздынáться*, *вздыть* и *подынúть*, *подынáть* в тех же значениях в других русских говорах [СРНГ 4: 262; СРНГ 28: 273]. Структура производных основ *-дынуть*, *-дынать* облегчила их формальное и семантическое сближение с глаголами *дуть*, *дунуть*, которое началось для их прототипов *\*dǫti*, *\*dǫtǫ* и *\*duti*, *\*dijǫ*, возможно, еще в праславянский период [ЭССЯ 5: 100, 156] и усилилось в древнерусский благодаря совпадению корневых гласных в инфинитивах. В семантическом плане сближение выразилось в обобщении для обеих групп глаголов значений 'надувать(ся), пухнуть; поднимать(ся)' и 'дуть, веять; колебать(ся),

двигать(ся)'. В связи с рассматриваемым случаем особенно существенна фиксация для *дуть*, *дунуть* значений 'быстро двигать(ся), нести(сь)' (см. *задуть* – [НовгСл 3: 25]; *дуй-подувай* – [СРНГ 8: 247]; *подунуть* – [СРНГ 8: 228]; *подуть* – [СРНГ 8: 229]) и 'поднимать(ся)' (*тесто дуется, знамена вздуваются; дуй до горы* – [Даль<sup>2</sup> I: 503]); ср. др.-рус. *въздунути* 'подняться' [СДР II: 46]. Следовательно, вероятно и образование глагола *-дунать* (от *-дунуть*, как от *-дынуть* – *-дынать*) со значением 'двигать, поднимать'.

Обратимся к форме слова *сдунайко*. Является ли оно непосредственным производным от *сдунать*? Связь этих слов представляется более сложной. Форма *сдунайко* определенно сопоставима с известным в святочных виноградях – величаниях припевом *здунай мой, здунай*, который в некоторых случаях превращается в название самих виноградий – *здунай*. Структура *здунай* восходит к *за Дунаем* [Мачинский 1981: 144] или *с Дуная*, но в виноградях уже деэтимологизировалась. Несомненные сакрально-положительные коннотации при отсутствии мотивационных связей провоцировали на их создание, и эти связи были найдены в сфере глаголов *дуть*, *дунуть* и, возможно, *сдунать*, что и породило небольшое словообразовательное наращение, усилившее личностную характеристику (*сдунай-ко*), и апеллятивное значение с реликтом сакральной функции – 'неведомая сила, помогающая что-либо сделать'. Не исключено, кажется, даже, что семантика *сдунайко* была обусловлена ассоциацией *здунай* с *дуть*, *дунуть*, з- в *здунай* было осмыслено как глагольный префикс \*въз- (ср. приведенные выше *сдынуть*, *сдынать*), а глагол *сдунать* является обратным образованием от *сдунайко*. Участие глаголов в преобразовании слов, восходящих к гидрониму *Дунай*, подтверждается структурой мужского имени собственного в народной песне – *Вздунай* (характеризуется как испорченный вариант имени *Дунай* – см. [Мачинский 1981: 147]).

Значительная вероятность вмешательства этимологической реинтерпретации в формирование рус. диал. *сдунайко* позволяет предполагать подобный процесс (и также с ориентацией на гнездо *дуть*, *дунуть*) еще в одном апеллятиве – в рус. диал. урал. *дунай-дунаем* нареч. 'о быстрорастущей, буйной растительности': *Бахча дунай-дунаем стоит, от как зеленеется* [СРНГ 8: 257]. Это наречие однозначно толкуется как производное от гидронима и приводится среди соответствующих апеллятивов или без каких-либо комментариев [SP 5: 93], или как "небезынтересное для определения



семантического поля лексемы” [Мачинский 1981: 121]. Действительно, на базе семантики водных объектов, характерной для апеллятивов, восходящих к *Дунай* (см. выше ‘река, разлив реки’ и т. п.), возможно спонтанное развитие семантики изобилия, множества: ср. наблюдения о продуктивности мотивации течения в славянских обозначениях изобилия, богатства, типа чеш. *oplývati* ‘изобиловать’, польск. *stoczny* ‘обильный’ [Варбот 1998: 34], болг. диал. *туна* и *сава* ‘огромное количество’ – от тур. *Туна* ‘Дунай’ и *Сава*, как отражение больших разливов Дуная [БЕР 1: 446], а также участие *здуная* в святочных величаниях – пожеланиях благополучия. Однако поле изобилия и множества все-таки не идентично семантике роста. В то же время, в семантике глаголов *дуть*, *дунуть* отмеченное выше значение движения, подъема сочетается со значениями и увеличения, и роста: см. *дуть соты* ‘о пчелах, когда они набирают кормовой мед’ [Даль<sup>2</sup> I: 503], *рожь выдувает колос* ‘колосится’ [Даль<sup>2</sup> I: 287; СРНГ 5: 275], просторечн. *картошка дует в ботву*. Поэтому представляется возможным связать формирование наречия *дунай-дунаем* ‘о буйной растительности’ на базе апеллятивного *дунай* с его этимологической реинтерпретацией по связи с глаголами *дуть*, *дунуть*.

#### ЛИТЕРАТУРА

Варбот 1998: Варбот Ж. Ж. К славянским обозначениям изобилия и тучности // Слово и культура. Памяти Н. И. Толстого. М., 1998. Т. 1.

Мачинский 1981: Мачинский Д. А. “Дунай” русского фольклора на фоне восточнославянской истории и мифологии // Русский Север. Проблемы этнографии и фольклора. Л., 1981.

Трубачев 1991: Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.

Г. К. ВЕНЕДИКТОВ

#### О помете “редко(е)” в толковых словарях болгарского языка

В числе помет, которыми в толковых словарях болгарского языка характеризуется употребление слов, их значений и форм, приводятся и пометы, указывающие на их количественную характеристику. Чаще всего в словарях используется для этого помета “редко(е)”

(болг. *рядко*). В продолжающемся издании многотомном “Словаре болгарского языка” в списке сокращений, принятых в нем, эта помета раскрывается как “редкое слово, форма, значение” [РБЕ I: 45]. Кроме нее, в словарях для сравнительной характеристики употребления слов, их форм и значений используются и другие пометы, например, “реже” или “более редкое” (болг. *по-рядко*), “обычно, обыкновенно” (болг. *обикновено*).

Важнейший вопрос, который возникает при анализе языковых единиц, указанных в словарях с пометой “редко(е)”, заключается в том, каково основание или каков критерий отнесения их в разряд редких. Словари дают этому следующие разъяснения.

Трехтомный “Словарь современного болгарского литературного языка” (РСБКЕ) помету “редко(е)” в разделе “Стилистическая характеристика слов” предисловия характеризует в ряду помет, употребляемых для обозначения принадлежности слова к определенному стилю языка: “*Редко* ставится при словах, которые не употребляются часто, например, *глупавина, заприличвам, вял, вялост, глумец* и др.” [РСБКЕ I: XIII]. Отметим, что данную помету составители этого словаря неправомерно рассматривают как стилистическую.

Многотомный “Словарь болгарского языка” характеризует помету “редко(е)” в ряду помет (вместе с пометой “индивидуальное”), служащих “для обозначения частоты (фреквенции) употребления слов”, и дает ей более развернутое, чем в РСБКЕ, объяснение: “Помета “редко(е)” ставится при словах, которые употребляются редко (чаще всего при таких словах, которые являются словообразовательными вариантами более распространенных в языке слов, а также при глаголах с приставками, образованных правильно по типичному для данной приставки словообразовательному типу, но редко употребляемых, хотя и возможных теоретически), например: *трапище...* Только ед. Редко. *Трап; планинист...* Редко. *Планински; приходям, -аш* (редко); *придойда*” [РБЕ I: 27]. В этом словаре рассматриваемая помета вынесена за рамки стилистических помет, но вместе с тем она стоит в ряду помет оценочного характера “диалектное”, “устаревшее” и др., которыми, наряду с принятым правописанием, устанавливается нормативный принцип этого словаря [РБЕ I: 6].

В толковом “Словаре редких, устаревших и диалектных слов” о помете “редко(е)” в предисловии говорится в разделе “Стилистическая характеристика слова” в одном ряду с пометами “устаревшее”,

“диалектное”, “разговорное”, “книжное”, “народное”, “старинное”. Эта помета ставится в данном словаре “при словах и значениях, отличающихся малой фреквентностью в современном литературном языке, например, *боле, сладчив, сипеш*” [РРОДД: 7].

В предисловии к объемистому “Словарю иностранных слов в болгарском языке” никакие пометы, характеризующие употребление слов, не указываются, но в словарных статьях они здесь достаточно широко используются, в том числе и помета “редко(е)”, например, *воития, гастролатрия, денди, мартириум* [РЧД: 178, 189, 231, 512] и др.

Как видим, критерий отнесения языковых единиц, прежде всего слов, в разряд редких и соответственно использования пометы “редко(е)” в цитируемых словарях формулируется по-разному (слова “не употребляются часто”, “употребляются редко”, “отличаются малой фреквентностью”), но для всех них критерий этот заключается в некоей редкости употребления в языке отмечаемых данной пометой слов (их значений и форм). Но – и это важно отметить – сама “редкость употребления” или “малая фреквентность” остается в словарях не определенной, без дальнейшей дефиниции, что порождает немало сомнений в правомерности и обоснованности использования интересующей нас пометы. Возникающие при этом вопросы, остающиеся нераскрытыми за указанными формулами, заслуживают подробного, тщательного анализа. Здесь, в рамках небольшой заметки, мы остановимся на двух случаях неправомерного, с нашей точки зрения, использования пометы “редко(е)”.

Наглядный пример вызывающего большие сомнения в правомерности ее употребления представляют словарные статьи на некоторые этнонимы. Речь идет о таких статьях, в которых в качестве заглавного слова дается наименование народа или племени в форме мн. числа и в которых форма ед. числа приводится с пометой “редко(е)”, например: *Баски* мн., ед. (рядко) *баск* ‘народ, който населява двата склона на Западните Пиренеи в Югозападна Франция и в Северна Испания’ [РБЕ I: 426]. В изданных томах РБЕ такого рода статей немало, например, *авари* и редкое *авар* [РБЕ I: 159], *англосаксонци* и редкое *англосаксонец* [РБЕ I: 265], *варяги* и редкое *варяг* [РБЕ II: 42], *готи* и редкое *гот* [РБЕ III: 328], *африканери* и редкое *африканер* [РБЕ I: 350], *етрусци* и редкое *етруск* [РБЕ IV: 852], *зулуси* и редкое *зулус* [РБЕ V: 1009] и др. Встречаются подобного рода статьи и в РСБКЕ, например: *траки* ‘фракийцы’ и редкое *трак* ‘фракиец’ [РСБКЕ III: 421], *франки* и редкое *франк* [РСБКЕ III: 537].

Использование в приведенных, как и во многих других, примерах такого рода пометы, указывающей на редкость употребления соответствующих этнонимов в форме ед. числа, на наш взгляд, неправомерно. Такие формы как будто действительно употребляются редко, может быть, даже очень редко сравнительно с формами мн. числа тех же самых этнонимов. Но большое, даже, возможно, разительное различие в частоте употребления форм ед. и мн. числа здесь определяется не собственно языковыми причинами, а внеязыковой реальностью, нашедшей отражение в том, что в текстах в силу их содержания чаще встречаются формы мн. числа наименований народов или племен, чем наименования отдельных (единичных) их представителей. Этнонимы в форме ед. числа *баск*, *зулус*, *франк* в болгарском языке свободно, без каких-либо ограничений употребляются (могут быть употреблены) там и тогда, где и когда это диктуется текстовой ситуацией. Форма ед. числа *зулус* не может быть заменена формой мн. числа *зулуси* там, где речь идет об отдельном представителе этого африканского племени. И можно себе представить какую-нибудь жизненную ситуацию, при описании которой форма ед. числа *зулус* будет употреблена гораздо чаще, чем форма мн. числа *зулуси*.

Другой пример неправомерного употребления пометы “редко(е)” дают словарные статьи, посвященные наименованиям некоторых так называемых парных предметов типа *ботинки*, *чулки*.

Как и в случае с указанными выше этнонимами, в качестве заглавного слова в таких статьях приводится наименование в форме мн. числа, а форма ед. числа дается с пометой “редко(е)”, например: *ботфорти* мн., ед. (рядко) *ботфорт* [РБЕ I: 760]. Так же и *ботушки* ‘сапожки’ и редкое *ботушка* ‘сапожок’, *валенки* и редкое *валенка* ‘валенок’ и др. По-видимому, наименования одного из названных и подобных парных предметов действительно встречаются в языке реже, чем названия парных предметов в форме мн. числа. Однако этими формами обозначается не один и тот же, а разные объекты: в одном случае – один предмет (сапог, валенок и под.), в другом – два и более таких предметов (сапоги, валенки). Наименования этих объектов связаны грамматически, но употребление каждого из них не зависимо одно от другого и определяется внеязыковой ситуацией: там, где речь идет об одном ботфорте или одном валенке, форма ед. числа наименований этих предметов может быть употреблена столь много раз, сколько требуется в данной ситуации.

Приведенные наименования этнонимов и так называемых парных

предметов в форме ед. числа не могут быть заменены соответствующими формами мн. числа. Между ними нет никакой конкуренции, а потому у носителей языка нет выбора между ними. Поэтому, на наш взгляд, использование пометы “редко(е)” в рассмотренных случаях не оправдано. Более того, сама эта помета в нормативном словаре, каковым является толковый словарь литературного языка, может быть воспринята его пользователем как некий настораживающий сигнал о “неполноценности” наименования в форме ед. числа.

Помета “редко(е)” имела бы право на использование только в тех случаях, когда сопровождаемые ею слова выступают как “равноправные” конкурирующие единицы, т. е. в тех случаях, когда говорящий или пишущий имеет выбор одного из них и по каким-то причинам предпочитает одно другому. Это же можно сказать и о рассмотренных выше наименованиях в формах ед. и мн. числа. В болгарском языке есть целый ряд существительных, которые обычно употребляются в форме мн. числа, но встречаются они и в форме ед. числа. Таковы, например, *ясли* ‘ясли, кормушка для скота’ (мн. ч.) и *ясла* ‘то же’ (ед. ч.), *везни* ‘весы’ (мн. ч.) и *везна* ‘то же’ (ед. ч.), *панталони* ‘брюки’ (мн. ч.) и *панталон* ‘то же’ (ед. ч.). Приведенные формы ед. числа словарями сопровождаются пометой “редко(е)”. Очевидно, что в подобных случаях, в которых наименования в формах ед. и мн. числа даже стилистически не различаются, рассматриваемая помета имела бы право на использование, если она вообще в принципе необходима в толковом словаре.

*Е. М. ВЕРЕЩАГИН*

**Архистратига пож свѣтло...**  
**Древнейшая служба архангелу *Михаилу*\***

*Рале Михайловне Цейтлин*

Нельзя сказать, чтобы богослужбное последование архангелу Михаилу (под 8 ноября) пользовалось вниманием исследователей. Не повлияла и догадка, что служба Михаилу, вероятно, занимает особое место в кругу источников Кирилло-Мефодиевского времени,

---

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 99-04-00102а “Лингвистическое исследование и подготовка к изданию архаичного источника – Илыной книги”).

поскольку крещальное имя первоучителя Мефодия могло быть – именно *Михаил*<sup>1</sup>. Интерес к последованию не увеличился и после того, как С. Кожухаров обнаружил канон Архангелу с акростихом, позволяющим сделать заключение о возможном авторстве Константина Преславского [Кожухаров 1983]<sup>2</sup>.

Между тем источник – чрезвычайно интересен.

До сего времени считалось, что древнейший список последования Михаилу Архангелу содержится в полной служебной минее за ноябрь 1097 г., ныне хранящейся в РГАДА (ф. 381 [Син. тип.] № 91) и в свое время изданной И. В. Ягичем [Ягич 1886: 321–329]. В Ягичевой минее порядок расположения гимнографических жанров таков: седален, кондак, икос, два набора стихир (всего из 8 единиц) и под конец – канон. Если к малым жанрам Ягич приискал греческие соответствия, то относительно канона (инципит 1-го тропаря: **Въстоупль всѣмъ**) ученый, восстановив греческий инципит, сделал пометку: Canon qui excipit, cuius prima verba haec sunt: Ἐπιβὰς πᾶσι, graece non occurrit [Ягич 1886: 589].

Между тем ныне, когда в научный оборот введена *Ильина книга*, самая древняя славяно-русская служебная минея на избранные праздники, – а в ней под 8 ноября также содержится служба Архангелу, – привычные взгляды должны быть пересмотрены. Древнейший список последования архангелу Михаилу обретается не где-либо, а именно в Ильиной книге, выдающееся значение которой стало раскрываться лишь в последнее время. Порядок следования гимнографических жанров в Ильиной книге более древний, чем в Ягичевой минее<sup>3</sup>, а именно: сначала – канон, затем – стихир и под конец – седален<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> \*М. [етодий] с монашеского име на слав. первоучител. Даниил за светското (кръщенното) му име не са известни. Като изхождат от виз. практика при приемане на монашески обет да се възиремя и ново име, започващо обикновено със същата буква, някои изследователи предполагат, че светското име на М. може да е било Михаил» [Николова 1995: 633].

<sup>2</sup> Жаль, правда, что ученый опубликовал только инципиты тропарей, но, насколько известно, так и не напечатал, за исключением первого тропаря, всего канона.

<sup>3</sup> Количественно их также меньше.

<sup>4</sup> Указанный порядок расположения гимнографических жанров (сначала канон, за ним стихира/стихиры и [обычно один] седален) свидетельствует об особой архаичности миней и ее языка, о ее принадлежности к достудийскому изводу. Ныне коллекция с «обратным» порядком расположения жанров состоит из 6 единиц, а именно: 1) Путятинной минеи (которую единственно и знал Ягич); 2) Ильиной книги, 3) глаголический праздничной минеи № 4 N, которую ввел в научный оборот

Последование Ягичевой минеи и последование Ильиной книги – не совпадают между собой. В первой – перед нами, вопреки надписанию, совместная служба архангелам Михаилу и Гавриилу и прочим бесплотным силам<sup>5</sup>, тогда как во второй – одному только Михаилу. Последование Ильиной книги не совпадает также и с акростишным каноном, открытым Кожухаровым.

Ильина книга (далее – Ил) – это весьма архаичная (по языку и тексту) славяно-русская рукопись из собрания РГАДА (Москва), ф. 381 (Син. тип.), № 131 (см. ее описания: [СК: № 76; Каталог: № 16]). Наименование источник получил по выходной записи (на листе 136<sup>v</sup>): *и́лѣ псалъ възвѣн попинъ црѣве стѣго възнесеннѣ.* Ильина книга, с точки зрения ее состава, а также особенностей языка и текстов, представляет собой древнейший (из сохранившихся) славянский минейный сборник. Так, она архаичнее знаменитой Путятиной минеи (XI в.), которая до сих пор считалась древнейшей. Ил содержит службы на двенадцатые праздники и избранным святым с сентября по февраль, а далее еще несколько последований, в том числе (позже основного текста списанные на свободное место) стихиры Борису и Глебу. Строгая кодикологическая квалификация источника в его первоначальном составе встречается с трудностями: изначально Ил, несомненно, имела также и триодную часть (о чем свидетельствует запись на л. 125<sup>v</sup>15), но поскольку сейчас в книге содержатся только службы на двенадцатые праздники и избранным святым, ее можно рассматривать как *минею праздничную*, или *трефоло(гид)й*.

Об архаичности самой Ил, о ее восхождении к южнославянскому протографу и о том, что она была переписана на Руси, свидетельствуют многочисленные данные языка и текста; подробнее об этом см. в отдельных обширных исследованиях [Верещагин, Крысько 1999; Верещагин (а)]. Полное издание Ил – на повестке дня.

Ниже – строго по источнику Ил – помещается служба Архангелу Михаилу: она начинается на листе 37-м (лицевая страница, строка 9) и завершается на листе 40-м (оборотная страница, строка 20). Размеры настоящей статьи – невелики, поэтому пришлось удовлетво-

---

Тарнандис; 4) фрагмента из Июльской минеи собрания РГАДА (ф. 381, № 121; служба Борису и Глебу: лл. 28<sup>v</sup>-31<sup>v</sup>); 5) Битольской триоды и 6) состоящего из одного листа источника РНБ Q.п.1.25.

<sup>5</sup> Она так и названа в Ноябрьской минее (ГИМ, Слн. 161), которую Ягич приводит в разночтениях: *архистратига миханла и гаврила.*

ряться только публикацией службы, а немногочисленные комментарии помещаются непосредственно при песнопениях (среди них есть, на наш взгляд, и любопытные наблюдения). Последование состоит из: канона (ниже номера 01-25); технической отсылки к трем стихирам 8-го гласа октоиха, с инципитами (26); трех стихир (27-29) и одного седальна (30). В каноне – 8 песней, с инципитами ирмосов. В каждой песни – по два тропаря и по одному заключительному богородичну. Богородичны отмечены не всегда: не помечены – 03, 06 (и 07, поскольку 06 и 07 составляют, скорее всего, единое песнопение), 13, 19 и 25; помечены литерой под титлом (Б) – 10, 16 и 22.

Греческий источник для всего последования, за исключением стихир октоиха (26), не отыскан. Если переводная природа последования в Ягичевой минее – весьма вероятна, то по отношению хотя бы к Михайлову канону Ил – она отнюдь не очевидна. Впрочем, стихиры и седален оставляют то же впечатление.

Ил цитируется буква в букву<sup>6</sup>. Если буква по каким-либо причинам превосходит обычный размер, то эта особенность воспроизводится. Пунктуация и диакритика рукописи опущены; анахронистически вносим от себя только опоясывающие запятые, чтобы выделить обращения. Песнопения пронумерованы, причем их надписания причислены к тексту первого гимна из цикла. Слово- и строкоделение (синтаксическая стихометрия), а также счет стихотворных строк привнесены нами (они отражают интерпретацию текста публикатором). Конец строки в рукописи обозначается одной вертикальной чертой (|), конец страницы – двумя (||), а сторона листа обозначается поднятыми латинскими литерами (*лицевая* <sup>r</sup> и *оборотная* <sup>v</sup>).

Итак, ниже следует **первая публикация** последования Михаилу Архангелу по Ильиной книге<sup>7</sup>.

01 37<sup>r</sup> 9-15 // мѢ· тѢ· н· архистра|тига миханла· ка· гла· Б·| пѢ·  
а· ирмо· глѣвинѢ Ѡк·|

- (1) Просвѣщѣн оумы
- (2) древле въшьна|га, бже,
- (3) паче члѣкъ нзинѢ

<sup>6</sup> Следуем эдиционным правилам, принятым в Российско-германском коллективе, осуществляющем издание Декабрьской служебной минее по древнейшим рукописям.

<sup>7</sup> Сердечно благодарю А. А. Турилова и В. Б. Крысько за помощь в работе.



- (4) <sup>1</sup>оустыньѣ| ми ѿвѣрзи  
 (5) дан слово въспѣвати| ми<sup>1</sup>  
 (6) славѣ дньсь твоего архангѣла·|

1-1: Первый случай (второй – см. ниже № 15), когда автор канона говорит о себе в 1-м лице единств. числа.

**02 37<sup>r</sup> 16-19 // (1) Молитвенникы твоя**

- (2) ангѣлы имѣаѣ|  
 (3) пѣнне немълчно  
 (4) хвалащаа тѣ| прими  
 (5) мольбамаи архангѣла, милостиве,  
 (6) дньсь ликъствяюще·|

**03 37<sup>v</sup> 1-5 // (1) также жпиноу видаше тѣ, дѣо,**

- (2) древле монси  
 (3) пачеистъствьнъ огнь попоношьшж<sup>1</sup>  
 (4) неопальноу всю тварь|  
 (5) ѿ мъсльнаго егѣпта спающаго|  
 (6) всю тварь рожьствомъ си·|

1: диттография.

**04 37<sup>v</sup> 6-12 // пѣ. ꙗ. крѣпость даан кн·|**

- (1) Страшьнъ паче оума  
 (2) также въпню|ть книгы  
 (3) есть бо простолъ<sup>1</sup> славы| твоея, спсе,  
 (4) свѣтъла же коньства| твоихъ архистратигъ, бѣ,  
 (5) въ памѣ|ть ихъ къ тебѣ въпнемъ дньсь  
 (6) рабѣы своя съпасан·|

1: Описка. Должно быть: -рѣ- (или, поскольку возможна и другая ортограмма, -ре-).

**05 37<sup>v</sup> 13-18 // (1) Крѣпость ѿ ба**

- (2) примъ яко държавь|ноу  
 (3) вари нзынѣ, архангѣле, славѣ бжїи|и  
 (4) бжїямаи просвѣщаемъ трончъ|скамаи зарамн  
 (5) озари молитвенн|кы си ликюща  
 (6) нетьлѣннїемъ и| даниемъ<sup>1</sup>·|

1: Редкая лексема дание (вероятно, «дар») (первая фиксация в Сл.РЯ XI-

XVII вв. под 1185 г.) представлена еще в одном песнопении Ил – в тропаре уникального канона св. Николаю Мирликийскому (72' 10-12): **Молитвами си, славыне, / въскорѣ посѣти| насъ / противънѣща врагы побѣжда| / по бжнѣж данноу всакъи неджгы прогона.**

**06 37<sup>v</sup> 19-20 // (1) тако съсждъ златъ**

(2) **принмъши ѿ ба,| влѣще,**

(3) **manoж питжци<sup>1</sup> вѣрнѣша||**

Тропарь оборван. Весьма вероятно, 06 и 07 образуют одно песнопение – богородичен. 1: Комментарий к глаголу питати/питж см. в 17.

**07 38<sup>r</sup> 1-4 // (1) Хлѣба нѣснаго наслаждающе са|**

(2) **нзинѣ твоего сѣа, прѣпѣтаа,**

(3) **сла|вословимъ та дшепитжщ<sup>1</sup> источникъ.**

Весьма вероятно, 07 представляет собой окончание песнопения 06. 1: Комментарий см. в 17.

**08 38<sup>r</sup> 4-10 // пѣ. д̄. оуслышах|**

(1) **Страшнии паче оума твои<sup>1</sup> прѣсТолн| сждъ<sup>2</sup>**

(2) **свѣтъла же херовимъ и сера|вимъ**

(3) **силъи же и гѣствнѣа**

(4) **власти| бжнѣа начала**

(5) **<sup>3</sup>авнѣ же<sup>3</sup> архангѣ|ли<sup>1</sup>**

(6) **тѣмь же ликъствжюще**

(7) **тво|римъ дньсь вѣрннн памл<sup>т</sup> ихъ.**

1-1: Перед нами (полное) перечисление всех чинов небесной иерархии по (Псевдо-)Дионисию Ареопагиту. См. также комментарии к 09, 23, 27 и 29.

– 2: Вероятно, нужна конъектура: **сжтъ** или **соутъ**. – 3-3: Вероятно, нужна конъектура: **ангѣлн же** и (по аналогии со строкой [3]), поскольку налицо явное стремление автора тропаря исчерпывающе назвать все чины ангельские. Чинов всего всего 9, но в перечислении данного тропаря – только 8; один чин (именно ангелы) – пропущен.

**09 38<sup>r</sup> 11-16 // (1) Възъпнимъ вси иногласно дньс|**

(2) **свѣтъло ликъствоюще**

(3) **оумъи же| своа очищше**

(4) **вѣрою миханлж**

(5) **чьстноу иемоу възъпнимъ**

(6) нзынѣ пою|ще яко <sup>1</sup>свѣтъъ съи въторъи

(7) исплѣ|ни нзы свѣта първаго<sup>1</sup>, първзын архангелѣ|

1-1: Противопоставление «второго света» (Архангелова) «первому» (Божественному) – отражение знакомства автора канона с трактатом (Псевдо-)Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии». Судя по компендиуму Лампе, хотя представление о том, что ангелы являются светами, свойственно ряду отцов Церкви, всё же идея, что они открывают (или отражают) не собственный, а «первый», т. е. Божественный, свет, так что являются «вторыми светами», характерна только для (Псевдо-)Дионисия Ареопагита (νεφέλης αὐτοῖς ἰδέαν ἢ θεολογία περιπλάττει, σημαίνουσα... τοὺς ἱεροὺς νόας τοῦ μὲν κρυφίου φωτὸς ὑπερκοσμίως ἀποπληρουμένους, τὴν... πρωτοφάνειαν... εἰσδεχομένους, καὶ ταύτην... εἰς τὰ δεύτερα δευτεροφανῶς καὶ ἀναλόγως διαπορθμεύοντας [Lampe: 1505; подчеркивания мон. – E.B.]). О влиянии учения Дионисия о небесной иерархии см. также комментарий к 08, 23, 27 и 29.

10 38<sup>f</sup> 17-20, 38<sup>v</sup> 1-3 // Б

(1) Испълниша сѧ, владѣще,

(2) на тебе прѣчстн|и гласи

(3) негда роди зиждителя сво|его

(4) яко извѣже болѣзни паче ксть|ства

(5) отрокж мѣи бзвѣвши безна|чальна оца

(6) дньница прѣже н-чрѣва| вѣснѣвѣши

(7) евзѣ ницини окаанѣ|и болѣзни разрѣшьши|

11 38<sup>v</sup> 4-11 // пѣ. ѿ тс животоу началь|

(1) Данилъ негда видѣ множество, блаже|

(2) англъ твоихъ древле

(3) оустраши сѧ| дхомъ

(4) огньное непрѣстѣпное соу|доу

(5) повѣстѣствѣи оужасе сѧ

(6) тѣ|мже ти възпиемъ: "мѣтвами, сѣсе| миханла

(7) молитвѣника ти отъ соу|да избеви нзы"|

12 38<sup>v</sup> 12-17 // (1) Начальниче славѣ бжнн,

(2) воеводо ангеломъ първзын,

(3) мѣтвѣникзы си избе|ви ѿ неджгъ лютыхъ

- (4) и напастин| свободи  
 (5) яко мѣстивъ блгъ слоужѣ|тель  
 (6) и дръзновеніе имъ къ пжчи|нѣ масрѣднѣ  
 (7) миръ намъ подаван|

13 38<sup>v</sup> 18-20, 40<sup>r</sup> 1-4<sup>8</sup> // (1) Оукраши сѣ доверотою мѣти вѣнѣи

- (2) паче| вѣсѣхъ члвкъ прѣсвѣтѣла естъсѣ|Тво|мь  
 (3) приатъ во паче словесе и оума  
 (4) яко| славѣ твою носѣщю  
 (5) вѣнѣтръ| сѣкръвеноу въ чревѣ ти  
 (6) тѣмже| моляще сѣ вѣпниемъ  
 (7) твоюж обогатими·

14 40<sup>r</sup> 4-10 // пѣ. 2. гла̂ словеси|

- (1) ѣгда видаше древле исанѣа  
 (2) твон прѣ|столъ оужасе сѣ и данъ<sup>1</sup> сѣмате сѣ|  
 (3) <sup>2</sup>власы главы<sup>2</sup> сѣ иакоже чювьствоуѣа|  
 (4) раз[ж]мѣ| авѣ повѣстѣствоуѣа  
 (5) стра|ха славы твоеѣа, спсе,  
 (6) твонухъ анге|лъ прославление·|

1: Вероятно, описка; должно быть: домъ. Иначе не получается смысла. В строке (2) содержится скрытая цитата из Ис 6:1: (по синодальному изданию) внѣхъ гдѣ сѣдѣща на престолѣ высоцѣ и превознесѣннѣ, и исполнь домъ славы ѣгѣ. – 2-2: Вероятно, нужны конъектуры, а именно: гласы славы. Механизм описки – зрительный (попарно власы и гласы, главы и славы – параграфы, т. е. слова, отличающиеся друг от друга одной литерой или элементами литер). Оба (подходящих по контексту) ключевых слова представлены в аллюзируемом фрагменте из книги прор. Исаии (6:3-4): и взывахъ дръгъ ко дръгъ, и глаголахъ: свѣтъ, свѣтъ, свѣтъ гдѣ саваофъ исполнь всѣ землѣ славы ѣгѣ. И взѣса наддверіе ѿ гласа, и мже воплахъ... Последняя фраза содержит в себе пословно переведенный фразеологизм; ср. идиоматичный перевод: «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих...». Мн. число лексемы гласъ в Ил представлено в двух формах – гласи и гласы; в пределах настоящего канона они распределены равномерно: первая форма содержится в песнопениях 10 (строка 2) и 18 (2), а вторая – в 28 (5) и 29 (9).

<sup>8</sup> При пагинации источника карандашом пропущена страница.

15 40<sup>r</sup> 11-16 // (1) Вѣрнѣша вса твоа

(2) памѣ<sup>7</sup> просвѣщанѣть

(3) ликъствоюща дньсь<sup>1</sup> въ стѣ<sup>7</sup>мь домъ ти<sup>1</sup>

(4) архистратига пож<sup>2</sup> свѣтло

(5) кака оукраси са слава ти,| пьрвы ангѣ бжни,

(6) ицѣление всѣмъ| истачающн|

1-1: Возможное свидетельство, что канон написан специально для храма Михаила Архангела. – 2: Второй случай (первый – 01) употребления 1-го лица ед. ч. Вероятно, самосвидетельство автора. Молитвенные обращения к Архангелу выдержаны в 1-м лице мн. ч., т. е. от имени общины.

16 40<sup>r</sup> 17-20, 40<sup>v</sup> 1-2 // Б

(1) Китеї и съсѣде безначальна сна, тра|пезо вжиа,

(2) нбсьнаго хлѣба вѣрнѣша питоущи<sup>2</sup>

(3) ѿ мзысльныхъ скрижалин сщци

(4) гавѣ озаряущи тако| свѣтнльникъ свѣтлъ

(5) ѿ мыглы| немирънаго спѣн равъи своа|

1: Вероятно, тахиграфия; должно быть: кивоте. Данная форма (кивотъ), наряду с синонимичными лексемами ковчегъ и скрина, – все три лексемы переводят греч. κιβωτός, – неоднократно зафиксирована в Ил. Имеется в виду ветхозаветный Ковчег Откровения<sup>9</sup>. В прообразовательное отношение к

---

<sup>9</sup> Указания об устройстве *киота*/*кивота*» *ковчега* (деревянного ящика для священного использования) и крышки к нему см. в Исх 25,10–22, причем здесь же сказано и о содержимом ковчега: «И положи в ковчег откровение (קְרִיבֵהוּן קַב), которое Я дам тебе»; «...в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе; там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения (קְרִיבֵהוּן קַב־עַל), о всем, что ни буду заповедывать чрез тебя сынам Израилевым». И действительно, когда были получены две скрижали, то они были положены в ковчег, – по заповеди Божией (Втор 10,1–5). От имени Моисея сообщается: «И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали (קְרִיבֵהוּן קַב) в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь». Наряду с откровением, в ковчег был вложен процветший жезл Ааронов (Чис 17,8–11): «И сказал Господь Моисею: положи опять жезл Ааронов (קְרִיבֵהוּן קַב־מִטֵּבֶה קַב) пред ковчегом откровения на сохранение». Наконец, в ковчеге хранился также гомор манны (Исх 16,31–34): «И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд (קְרִיבֵהוּן קַב) [золотой], и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом, для хранения в роды ваши». Четкое сообщение о содержимом ковчега имеется также и в Новом Завете: в ковчеге «были золотой сосуд с манною (στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα), жезл Ааронов расцветший (ἡ ράβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα) и скрижали

Богоматери поставлены: *ковчег-«кивот»*, *стамна* (съсждъ, хранивший манну [«небесный хлеб»]) и *скрижали*, т. е. те предметы, которые обладали вместимостью и по этому основанию допускали уподобление материнской утробе. Уподобление Богородицы *стамне* см. выше 06. Ср. также один богородичен (из службы Введению Богородицы во Храм), интересный тем, что в нем названо еще одно местопище – Скинния, в которой хранился Ковчег: *Тебѣ съвѣдѣтельнѣша скинни прообрази / въ неже скрижали и стамна злата и кивотъ* (63<sup>r</sup> 3-5). Обращает на себя внимание также, что составитель канона предпочитает ветхозаветные аллюзии. Надо указать на параллель: одни только ветхозаветные аллюзии содержит и Последование на обретение мощей Климента Римского, которое, почти несомненно, вышло из-под пера первоучителя Кирилла (см. [Верещагин (6)]). – 2: В Каноне архангелу Михаилу концентрированно встретились три бессуффиксальных формы настоящего времени глагола с основой *пит-*: *питѣщи/питоущи* (см. выше 06 и в данном тропаре) и *дшѣпитѣщи* (выше 07). Кроме того, в других текстах Ил еще дважды зафиксированы подобные же бессуффиксальные формы: *тельць чьстьнѣи оудержаниемъ питомъ ксть* (16<sup>v</sup> 15-16); *прѣпити гладомъ тагвѣша дша* (99<sup>v</sup> 11). На основании приведенной коллекции материала В. Б. Крысько указал «на архаичную, до сих пор не фиксировавшуюся бессуффиксальную презентную парадигму глагола *питати/питѣ*, аналогичную спряжению типа *метати – метѣ*, *съсати – съсѣ*, *искати – искѣ*» [Верещагин, Крысько 1999: 13].

17 40<sup>v</sup> 3-8 // прѣ̇ ѣ̇: ѣжноша върънѣша |

- (1) ксть паче оума прѣстола, сѣсе,
- (2) неть|лѣѣщаго свѣта
- (3) твоиен велицѣи|славѣ
- (4) англьстни чини
- (5) твоиѣ про|свѣщени красотоѣ
- (6) и тѣмъ нѣинѣ| въ память миханла възнимѣ
- (7) прѣ̇ |

18 40<sup>v</sup> 9-13 // (1) Поѣтъ гвѣ̇

- (2) книжьни гласи непосра|мно
- (3) твоиѣа помощи, миханле архї|стратиѣ,
- (4) мы же зьрѣще чудесъ тво|ихъ

---

завета (αὶ πλάκες τῆς διαθήκης)» (Евр 9,4). Таким образом, в ковчеге откровения помещались четыре предмета. Два из них аллюзируются в богородичие.

- (5) ꙗко помагаша прѣпѣшнѣмъ  
 (6) въ теплѣи кровѣ твоеи  
 (7) прѣпѣшнѣмъ.

- 19 40<sup>v</sup> 14-19 // (1) Незаходима свѣща  
 (2) и прѣстоле огньнѣ хѹ ба,  
 (3) двѣ, спси вса твоя пѣвѣца|  
 (4) архангельскы тѣ нзынѣ възсвалѣшце  
 (5) раджи са крѣпзко вѣрно  
 (6) възпѣшнѣмъ ти оутвърженне  
 (7) прѣславнаѣ бѣвна влѣще,  
 (8) спси рабѣ своѣ.

- 20 40<sup>v</sup> 20, 41<sup>r</sup> 1-6 // пѣ. ѿ танноу прѣславнѣ||  
 (1) Танна прѣславна  
 (2) англьстни чини| вѣша, спсе,  
 (3) твои славѣ ꙗко огнь сжѣше  
 (4) неестествоно сълеми вѣвають  
 (5) къ земьнымъ оучитѣ  
 (6) авѣ не| опалѣюще твари  
 (7) озарѣють же и прѣсвѣщають  
 (8) чисти зиждителѣ.

- 21 41<sup>r</sup> 7-13 // (1) Наста, прѣзднолюбѣци, архангѣла дньсь  
 (2) свѣтъла же и всепрѣздна| памѣть  
 (3) тѣмъ же възспранѣмъ вѣрно  
 (4) нѣмоу въззпнѣюще  
 (5) отъ помѣшленна нечиста извѣгнати  
 (6) и ѿ лютьихъ грѣхъ  
 (7) мольбами нѣго да възвеселимъ са  
 (8) въ вѣкы вса.

- 22 41<sup>r</sup> 14-19 // б  
 (1) Въспѣтъ похвальнаѣ нсана  
 (2) нѣгда видѣ двѣ раждающю бѣсѣмене  
 (3) кто видѣ ли кто слыша коли

- (4) вещь еже| паче оума
- (5) без болѣзни породащю| младенца
- (6) съхранши гавѣ
- (7) и ча|анна достоинъимъ подавающи|

23 41<sup>r</sup> 20, 41<sup>v</sup> 1-6 // прѣ· ѿ· недооумѣеть вса||

- (1) въсь паче оума
- (2) чинъ есть <sup>1</sup>прѣстолъ| твоихъ
- (3) <sup>2</sup>хероувимъ же и серафимъ<sup>2</sup>|
- (4) властѣмъ же и гѣствомъ, бже,
- (5) ангеломъ и архангломъ
- (6) сламъ и нача|ломъ<sup>1</sup> страшнамаъ
- (7) твою бо неиздреченноую красотж по тебѣ имжть·|

1-1: Второй (полный) перечень чинов небесной иерархии. См. также комментарий к 08, 09, 27 и 29. – 2-2: Лексемы хероувимъ и серафимъ в данном тропаре, скорее всего, имеют собирательное значение (как народъ) и соответственно грамматически изменяются по парадигме единственного числа.

- 24 41<sup>v</sup> 7-13 // (1) Възъпилъ есть пророчьскъин ликъ|
- (2) и размѣрилъ чинъ бесъмьртно|мъ ангеломъ
  - (3) възпѣваа неиздреченны
  - (4) мждрости [……]<sup>1</sup> мъножество
  - (5) образъствомъ и различьствомъ гавлаа вѣрно
  - (6) та бо та|ко държавна авлааетъ и неизгланѣ·|
- 1: выскоблено.

- 25 41<sup>v</sup> 14-20 // (1) Како са оукраси
- (2) добротою паче оума,| прѣстаа,
  - (3) твою неиздреченно ро|жество
  - (4) и бгѣ всѣмъ съоукраси| же са
  - (5) томъ бо вса, црце, прѣвъзимѣ|ищи
  - (6) англъскъна чинъи свѣтълы|а и крѣпкъна
  - (7) темъ же спсени то|вою тебѣ са молимъ·|

26 41<sup>v</sup> 21, 42<sup>r</sup> 1-3 // сти· въ оуханцѣ· гла· н·||

- (1) гн, та бесплътныхъ лица непрѣста·|



- (2) гн̄, все състроѣнѣа анкѣ тѣ англ̄·  
 (3) гн̄, тѣ хвалѣтъ серафимѣ власти н̄·

27 42<sup>r</sup> 4-14 // ино· гла· в̄· по· егда ѿ др̄·

- (1) Нынѣ <sup>1</sup>прѣстолю трепетно  
 (2) прѣдъ|стоѣще страшно  
 (3) бесплѣтна вон|ньства  
 (4) англ̄н и архангл̄н  
 (5) слѣзы же| и гд̄ства  
 (6) хероувимѣ и серафим|  
 (7) начала и власти<sup>1</sup>  
 (8) непрѣстанно за| насъ хоу молитѣ са  
 (9) дати грѣховѣ| прощение  
 (10) всѣмъ припадающимъ| чѣстно  
 (11) вашими млѣвами, прѣ|хвалени·

1-1: Третий (полный) список чинов небесной иерархии. См. также комментарий к 08, 09, 23, 28 и 29.

28 42<sup>r</sup> 14-20 // гла· д̄· дастъ зн̄·|

- (1) Красьно оудобрими  
 (2) вжстѣвнами| зарями  
 (3) прѣвѣгѣтно, архангл̄н,  
 (4) <sup>1</sup>п(р)ѣ|столю прѣдъ|стоитѣ  
 (5) непрѣстаннѣ| гласѣ  
 (6) трѣстѣю пѣснь гвн̄ възпиюще|  
 (7) хероувимѣ и серафимѣ|  
 (8) слѣзы же| и гѣствни<sup>1</sup>  
 (9) тѣмъ же вси припадае|мъ  
 (10) молаще спѣти са дш̄амъ нашим·|

1-1: Четвертый (неполный) список чинов небесной иерархии. См. также комментарий к 08, 09, 23, 27 и 29.

29 42<sup>v</sup> 1-9 // (1) Прѣсвѣтѣлами зарями

- (2) издрад̄|но оукрашени  
 (3) и любѣвью ражде|гома  
 (4) <sup>1</sup>гд̄ства власти же вса

- (5) и <sup>2</sup>чинове въторни<sup>2</sup>
- (6) прѣстоли и арханъ|гелн<sup>1</sup>.
- (7) съ бе-щисльна вонньства
- (8) о|кръстъ ба стоаще
- (9) непрѣстанни| гласъи
- (10) за насъ х̄ви помолите са
- (11) Тво|рцаца вър̄но чьстьноне ваше тръ|жьство.

1-1: Перед нами уже пятый случай, – см. 08, 23, 27, 28 и 29, – когда составитель канона настойчиво (неоднократно) перечисляет чины ангельские, как бы стремясь, чтобы верующие хорошо их запомнили в своей памяти. В других богослужебных последованиях на Михайлов день такой перечислительности нет<sup>10</sup>. В 08 перечень полный, из 9 чинов: прѣстоли; херувимъ и серавимъ; силъ и господьства; власти и начала; ангелн и архангелн. В 23 также перечислены 9 чинов, но порядок их следования и группировка в пары – иные: прѣстоли; хероувимъ и серафимъ; власти и господьства; ангелн и архангелн; силъ и начала. Наконец, в 27 также имеется полный список чинов: прѣстоли; ангелн и архангелн; силъ и господьства; хероувимъ и серафимъ; начала и власти. В 28 и 29 перечни сокращенные, соответственно: архангелн; хероувимъ и серафимъ, силъ и господьства; господьства и власти; прѣстоли и архангелн. – Представление о небесной иерархии присутствует у ап. Павла, но в неотчетливом виде: в одном перечне названы *ангелы, начала и силы* (Рим 8,38), в другом – *начальства, власти, силы и господства* (Еф 1,21), в третьем – *престолы, господства, начала и власти* (1 Кол 1,16). Развитая ангелология с разделением ангелов на классы, или степени, была утверждена на Пятом вселенском соборе (553 г.), и она содержится в трактате «О небесной иерархии» (Псевдо-)Дионисия Ареопагита: в нём описаны три ангельские иерархии, каждая из которых в свою очередь состоит из трех чинов, или степеней: престолы, херувимы, серафимы; власти, господства, силы;

<sup>10</sup> Подобной перечислительности нет в службе Ягичевой минне (и других учтенных в разночтениях источниках). В современных греческих служебных минеях и в зависящих от них славянских влияниѣ ангелология Дионисия, несомненно, присутствует, но полный перечень ангельских чинов, при значительно большем, чем в Ил объеме гимнографического материала, в двух канонах праздника встретился всего один раз (во 2-м тропаре 9-й песни Второго канона). Поскольку Второй канон, судя по акростиху богородичнов (Κλήμεντος), принадлежит (вопреки свидетельству славянской печатной минне), не Иоанну Монаху, а Клименту, бывшему, после Федора, вторым настоятелем Студийского монастыря, – архиеп. Филарет прямо усваивает ему Канон архангелам под 8 ноября [Филарет 1902: 259], влияниѣ этого канона на минею, не правленную по Студийско-Алексеевскому уставу, можно исключить.

архангелы, ангелы, начала (или начальства). Какое значение имеют степени – неизвестно<sup>11</sup>. Дионисиева система наиболее точно воспроизведена в 08. Нет сомнения в том, что автор канона Михаилу был хорошо знаком с учением о небесной иерархии. Воздерживаясь от каких-либо сближений, обратим тем не менее внимание, что первоучитель Кирилл был приверженцем, наряду с Григорием Богословом и Иоанном Дамаскином, Дионисия Ареопагита. В Македонском кириллическом листке, содержащем, как считается, фрагмент предисловия Константина-Кирилла к его переводу Евангелия (или же просто трактат по проблемам перевода)<sup>12</sup>, упоминается: (Павлов) *оученикъ великыи дионисии* [Минчева 1978: 81]. Кроме того, о высокой оценке сочинений Дионисия Кириллом свидетельствует и знаменитый церковный деятель и ученый второй половины IX в. Анастасий Библиотекарь (умер ок. 879 г.), лично знавший первоучителя. Посылая в марте 875 г. труды Дионисия (в переводе на латынь Иоанна Скотта Эриугены; 815–877) императору Карлу Лысому (по повелению которого и был совершен перевод), Анастасий в сопроводительном письме написал: «... великий муж и учитель апостольской жизни, Константин Философ, который при священной памяти папе Адриане II прибыл в Рим и возвратил тело св. Климента на свое место, вверил памяти (*memoriae commendaverat* – переписал?) весь кодекс часто упоминаемого и заслуживающего упоминания отца и указывал слушателям, сколь полезно его содержание; он обыкновенно говорил, что если бы святые, а именно наши первые наставники, которые с трудом и как бы дубиной обезглавливали еретиков, располагали написанным Дионисием, то, без сомнения, они рубили бы их острым мечом; и он постоянно повторял, что тогда они значительно легче, действительней или быстрее [...] заставили бы замолчать тех, чьи рты они заграждали с большим трудом и значительно медленней» (цитируем в русском переводе по [Прохоров 1995: XVIII]). Кстати сказать, словосоче-

---

<sup>11</sup> Систематическое изложение системы Дионисия Ареопагита см. [Макарпий 1895: 395–401].

<sup>12</sup> В [СК: 85] перечислены исследователи, которые считают, что автором Предисловия является не Иоанн Экзарх, а именно Кирилл Философ – А. Вайан, И. Вашница, К. Горалек, Ф. Славский, К. Трост. Здесь же сказано, что авторство Кирилла якобы отвергается А. Минчевой. Между тем Минчева, подтверждая реконструкцию Вайана, написала прямо противоположное: «Вън от всяко съмнение е и оценката, която той (т. е. Вайан. – *Е.В.*) дава на Македонския кирилски лист, като го идентифицира с част от предговор на Константин-Кирил към славянския превод на Евангелието» [Минчева 1978: 82]. Еще определеннее, говоря о себе в 3-м лице, она высказалась в другой работе: «Минчева [...] свързва съдържащата се в него (т. е. в Македонском кириллическом листке. – *Е.В.*) текст с името на Константин-Кирил и приема, че това е бил трактат по въпросите на превода, в който става дума за евангелския текст» [Минчева 1995: 597].

тание *memoriae commendo*<sup>13</sup>, вызвавшее затруднение у переводчика, можно понять и как «советовал запомнить»<sup>14</sup>, тем более что, судя по контексту, речь идет о преподавательской деятельности первоучителя. Богослужбное последование, особенно при настойчивых повторениях одной и той же информации, также может служить дидактическим целям (меморизации). Предприняв обзор влияния Дионисия на Кирилла, К. Станчев сделал заключение: «Съчиненията на Псевдо-Дионисий Ареопагит могат да се посочат като един от основните източници за формиране на Кириловите философски възгледи наред с влиянието на Кападокийската школа и на Йоан Дамаскин. Чрез Кирила почитта към съчиненията, приписвани на Дионисий Ареопагит, се предава и на книжовниците от Симеоновия кръг» [Станчев 1985: 588]. – 2-2: «вторые чины» – еще одно свидетельство приверженности составителя канона учению Дионисия Ареопагита.

30 42<sup>v</sup> 9-20 // сѣ. гла. ѿ. прѣмудрос. |

- (1) Прѣстолоу прѣстоаще, прѣсвѣтълаа, |
- (2) и зарамн ѿ него бозрачно свѣтнѣи |
- (3) прѣбогато, бесплѣтнни лицн,
- (4) си|лоу нетьлѣннѣоу
- (5) и славоу нмѣще | бесъмьртнѣа
- (5) красьно оудабрѣ|мн
- (6) бжствьнами лѣпотами
- (7) тѣ|мь же тако нмѣще дрьзновеннє кѣ | боу
- (8) за насъ помоли сѧ, архнстратн|же мнѣанѣ,
- (9) сѣ бесплѣтннѣмн силѧ|мн
- (10) грѣховъ оставленнє подати
- (11) чь|тѣжимъ <sup>1</sup>вашю прѣславнѣю вашю<sup>1</sup> / сѣтннѣо//:-||

1-1: Диттография.

<sup>13</sup> *Commendo* означает «советовать, рекомендовать, предлагать, побуждать», так что если словосочетание *memoriae commendo* считать свободным, то перевод «советовал запомнить» представляется естественным. Если же считать словосочетание видом фразеологизма, то по аналогии с конструкцией *terrae commendo* «препоручать земле = помещать в землю = погребать», конструкция *memoriae commendo* может значить и «препоручать памяти = помещать в память = запоминать» (и это значение отмечается в словаре Дворецкого).

<sup>14</sup> К. Станчев переводит это место иначе: «беше запаметил целия свѣтъкъ на често споменаваннѣи достопаменън отецъ (т. е. Дионисий. – Е.В.) и сподѣляше сѣс слушателнѣте колко голяма полза има от неговото съдържаннє» [Станчев 1985: 588].

## ЛИТЕРАТУРА

Верещагин (а): *Верещагин Е. М.* Новонайденные тексты гимнографии Кирилло-Методиевского времени: исчезнувший жанр праздничных блажен // *Byzantinoslavica* (в печати).

Верещагин (б): *Верещагин Е. М.* Аллюзии из Танаха в новонайденном каноне славянского первоучителя Кирилла // *Jews and Slavs. Vol. 7* (в печати).

Верещагин, Крысько 1999: *Верещагин Е. М., Крысько В. Б.* Наблюдения над языком и текстом арханчского источника – Ильиной книги. Статья первая // *Вопросы языкознания*. 1999, № 2. Статья вторая // *Вопросы языкознания*. 1999, № 3.

Каталог: Каталог славяно-русских рукописных книг XI–XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР. М., 1988. Чч. 1 и 2.

Кожухаров 1983: *Кожухаров С.* Пѣти достонть архистратига (Новооткрыто произведение на Константин Преславски) // *Литературознание и фолклористика*. В чест на 70-годишната на академик Петър Динев. София, 1983.

Макарий 1895: *Православно-догматическое богословие Макария, митр. Московского*. Изд. 5-е. СПб., 1895. Т. I.

Мишчева 1978: *Мишчева А.* Старобългарски кирилски откъслци. Български езикови паметници. София, 1978. Т. I.

Мишчева 1978: *Мишчева А.* Македонски кирилски лист // *Кирило-Методиевска енциклопедия*. София, 1995. Т. II.

Николова 1995: *Николова С.* Методий // *Кирило-Методиевска енциклопедия*. София, 1995. Т. II.

Прохоров 1995: *Прохоров Г. М.* От издателя // *Дионисий Ареопagit. О Божественных именах. О мистическом богословии*. Издание подготовлено Г. М. Прохоровым. СПб., 1995.

СК: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., 1984.

Станчев 1985: *Станчев К.* Дионисий Ареопagit // *Кирило-Методиевска енциклопедия*. София, 1985. Т. I.

Ягич 1886: Служебные минен за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. Труд орд. акад. И. В. Ягича. СПб., 1886.

**К изучению типологии процесса взаимоотношения  
традиционной и народной лексики  
на преднациональном этапе становления  
современных славянских литературных языков  
(постановка вопроса)**

Широкое проникновение народного словаря в язык письменности, с одной стороны, стремление к сохранению определенного круга традиционной книжной лексики, с другой, — две стороны единого процесса формирования лексической нормы, характерного для литературно-языковой ситуации XVI–XVII веков в ареале православного греко-славянского мира в период интенсивной ломки старых народных традиций, формирования новой литературы и новых литературных языков, период, для которого прежде всего была характерна широкая демократизация языка письменности, создание книжных языков на народной основе (“простого языка”), либо “органическое, проникающее сближение ранее противопоставленных и обособленных систем письменного и разговорного языка” [Ларин 1961: 25].

Процесс этот при всем своеобразии конкретного решения вопроса о соотношении во вновь возникающих книжно-литературных идиомах традиционных славянских и народно-разговорных лексических элементов не только в рамках отдельных книжных идиомов, но и в рамках творчества отдельных книжников, в различных жанрах словесности и даже в различных видах контекста, вместе с тем имел немало общих закономерностей. Уже из этой констатации вытекает принципиальная возможность и важность типологического подхода к исследованию этого явления. В свою очередь, это предполагает предварительное изучение соотношения книжной и народной лексики в рамках конкретных славянских литературно-языковых идиомов и, — уже, — в языке ведущих книжников этой эпохи.

Необходимо определить круг задач, разработка которых могла бы составить основу типологической характеристики процесса становления лексической нормы отдельных идиомов и, шире, процесса становления нормы в истории славянских литературных языков.

Разработка программы подобного исследования — дело сложное. Неясен ряд важнейших исходных теоретических посылок. И, в первую очередь, необходимо понять, какие именно данные

могут лечь в основу будущих типологических обобщений, составить исходный материал для характеристики становления лексической нормы в славянских литературных языках. Если вспомнить все историческое своеобразие, всю многоплановость, индивидуальную неповторимость и противоречивость решения книжниками вопроса о соотношении книжных и народных выразительных средств на отдельных этапах истории литературного языка данного народа, в творчестве конкретных писателей и различных жанрах словесности, сложность определения самого объекта типологических наблюдений в данной области вырисовывается во весь свой рост.

Попытаюсь высказать некоторые замечания по этому поводу.

Очевидно, что проблема соотношения книжных и народных лексических средств в языке письменности XVI–XVII веков является лишь одной из сторон процесса постепенного становления современных славянских литературных языков на этапе их предыстории. Поэтому и найти свое объяснение она может лишь при учете всей сложнейшей историко-культурной и социолингвистической ситуации, в которой протекал этот процесс в греко-славянском мире, лишь в свете общих типологических тенденций этого развития. Следовательно, исходной посылкой при решении проблемы соотношения книжных и народных элементов в истории славянских языков в ее типологическом аспекте должно стать, прежде всего, выявление типологических тенденций развития славянских литературных языков, общих и своеобразных особенностей этого процесса (ср., например, опыт исследования славянских литературных языков в аспекте общей для них тенденции к демократизации культуры, письменности и литературного языка в XVI–XVII вв. в работе [Демина 1993: 121–136]).

При решении этого вопроса, в свою очередь, необходимо четко разграничивать относящиеся к разным уровням абстракции понятия, стоящие за термином “литературный язык” в его “обычном” употреблении и, следовательно, два различных (хотя и взаимосоподчиненных) уровня исследования. А именно, с одной стороны, следует иметь в виду “литературный язык” как определенное историко-культурное явление, как некое “целое”, с другой стороны, принимать в расчет все существующие в данный период у данного народа формы конкретной манифестации этого историко-культурного явления как состояния этого “целого”.

Сравнительно-типологическое изучение литературных языков как определенного историко-культурного явления позволяет выявить

сходные тенденции в развитии этого явления, определить типологически сходные формы его манифестации через конкретные книжные идиомы, само появление которых и обусловлено действием этих общих тенденций развития и которые выполняют сходные общественные функции, определяющие социолингвистическую ситуацию данного периода в интересующих нас странах.

Проблема соотношения книжных и народных лексических средств и должна первоначально решаться на этом втором уровне, основываясь на материале предварительно выявленных типологически сходных групп конкретных книжных идиомов. В основу исследования, на наш взгляд, должно лечь выявление тех узловых, диагностических моментов, тех вопросов, с которыми при всем своеобразии конкретных произведений сталкивались в своей оригинальной и переводческой деятельности книжники разных областей славянского мира и при решении которых вставала проблема выбора между традицией и живой народно-разговорной нормой. Определение сходств и различий в решении этих узловых вопросов и может лечь в основу будущих типологических обобщений.

Выбор между традиционной и народной лексикой, очевидно, определялся той функциональной нагрузкой, которую, в представлении того или иного книжника они (а также их соположение) должны были нести в тексте. Таким образом, в основу типологической характеристики процесса становления лексической нормы славянских литературных языков, как представляется, должны лечь данные о функциях книжно-славянских и народных лексических элементов в ткани конкретных произведений, дополненные данными статистического анализа и описанием круга народной и книжной лексики по тематическим группам.

Важным представляется ответ на вопрос о зависимости выбора между традиционными славянскими и народно-разговорными лексическими средствами от существующей в обществе социолингвистической нормы, утвердившихся представлений о социально корректном высказывании и необходимости ломки таких представлений. Думаю, что хорошо известное высказывание Лудольфа в его Грамматике русского языка 1696 г. о том, что "никто из русских не может писать или рассуждать о научных материях, не пользуясь славянским языком" и что, наоборот, "в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средстами одного славянского языка. Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а



писать по-славянски” [Лудольф 1696: 113–114], следует оценивать не столько как констатацию представленного в русской действительности этого периода состояния, а скорее как достаточно определенную информацию о существовании в русском обществе XVII в. представления о социалингвистической норме, о социально корректном высказывании.

В свете такого понимания могут быть типологически соотнесены, например, литературная деятельность протопопа Аввакума, который ввел живую разговорную стихию русского языка в такой традиционный жанр конфессиональной литературы как житие, и деятельность болгарских дамаскинарей XVII в., также использовавших в агиографической и религиозно-поучительной литературе живой народный язык, или, например, такой памятник Закарпатской Украины конца XVI в., как Няговские поучения на евангелия, в котором, по словам И. Панькевича, “отражена живая речь бассейна реки Тересвы”, “целая фонетическая и грамматическая структура мараморошского диалекта конца XVI или возможно начала XVII в.” [Панькевич 1958: 173–174]. Основанием для такого типологического соотнесения является тот факт, что во всех названных случаях мы имеем дело с резкой ломкой принятой в обществе социалингвистической нормы, установившихся образцов социально корректного высказывания. Известно, например, что украинские полемисты XVI в. Иоанн Вишенский и Михаил Андрелла призывали “не выворачивать” простым языком Евангелие, хотя и допускали поучение в церкви на этом “простом языке”. Как отмечает И. К. Белодед, “такие выражения в евангельских поучениях, как, например, *А Бѣ̄ рюк ихъ нему: дурняче, у сесю нучь душу твою возмут выд тебе, а што есь наготовивь, кому будеть?* и под. представители образованных сфер считали слишком грубыми и предпочитали, чтобы их бог “говорил” более интеллигентным языком” [Белодед 1968: 8].

Важным представляется исследование вопроса об обусловленности решения проблемы выбора между книжными и народными лексическими средствами языковой ситуацией в данный период у данного народа, то, как она оценивается тем или иным книжником. В этой связи можно говорить с одной стороны, о ситуации своеобразного гомогенного двуязычия типа традиционный литературный язык – народный язык, с другой, – о ситуации диглоссии. Так, болгарские дамаскинари-последователи высказанной греческим писателем XVI в. Дамаскином Студитом в его “Сокровище” идеи о

необходимости писать доступным народу языком, чтобы обращенные к нему проповеди не уподоблялись красивому и благоуханному, но обнесенному неприступной оградой саду, опечатанному источнику, предприняли специальный перевод (пересказ) с оригиналов на традиционном болгарском литературном языке на вновь создаваемый ими книжный язык на народной основе. В самом этом факте нашла свое отражение оценка этими книжниками литературно-языковой ситуации эпохи и отношения между традиционным и народным языком. Типологическую параллель этому мы находим в уже упоминавшихся Няговских поучениях на Евангелие, в которых даже чисто религиозная лексика вобрала в себя значительное количество народных элементов, таких как *уседержитель*, *усесильный*, *выдкупитель* и др. о боге, *выдмънити*, *выдмънок*, *мянтованя*, *ослобожня*, *помънок*, *усокотити* – о божественном искуплении и под. [Дже 1965: 125–127]. В типологическом отношении сближается с этим и факт бытования в украинской и белорусской литературе конца XVI в. неизвестных ранее в греко-славянском мире книг с параллельно, в две колонки напечатанным текстом: на традиционном литературном и на “простой русской мове”. Ср., например, издание Василием Тяпинским (около 1570 г.) текста Евангелия в параллельных колонках на белорусском в своей основе и славянском литературном языке. “Происходит весьма значительный акт: в конфессиональной литературе, считавшейся священной, наряду с принятым и освященным традицией древнеславянским вводится новый литературный язык, близкий к народно-разговорному субстрату. Двухязычие воспринимается как законное явление” [Толстой 1988: 59].

В этом отношении язык протопопа Аввакума, в котором, как показал В. В. Виноградов, представлены сложные формы семантического сплетения и слияния церковно-книжной фразеологии и мифологии с устно-поэтической речью, с народно-мифологическими образами и выражениями, с приемами бытового рассказа и сказового повествования [Виноградов 1923: 125–203], занимает особое место в типологическом ряду. Языковое сознание Аввакума позволило ему осознать языки русский и славянский как единое целое, как нерасчлененное национальное достояние и выдвинуть декларацию о единственно правомерном в России “природном” языке, одновременно и “славянском” и “русском” [Робинсон 1974: 355–362].

Типологически релевантные выходы дает и исследование вопроса об обусловленности выбора между книжными и народными лексе-

мами жанром произведения и — уже — спецификой контекстов в рамках одного и того же произведения, от стиля в целом и от стилистического задания отдельных эпизодов. Так, например, в языке новоболгарских дамаскинов наибольшее количество введенных в текст на народном в своей основе языке традиционных книжных элементов находим в контекстах философско-религиозного толкования библейских событий [Демина 1973: 133–137]. Напротив, как известно, неожиданное соположение книжных и народных лексических средств в произведениях русской сатирической прозы XVII в. нередко служит целям достижения яркого комического эффекта. Например, в “Празднике кабацких ярыжек” — сатирическом произведении второй половины XVII в. — читаем: “*Ныне отпущаеши с печи меня, раба своего, еще на кабак по вино и по мед и по пиво, по глаголу вашему с миром, яко видеста очи мои тамо много пьющих и пьяных*”.

Типологические выходы может дать сопоставление таких феноменов, как степень “оживания” книжных элементов в грамматический строй народного языка (ср., например, употребление книжных слов в новоболгарском тексте в членной форме, создание неизвестных народному языку слов по книжной словообразовательной модели, но от народных производящих основ типа *криводумание, залудопочитание, файдаземание* и под.).

Краткая заметка, естественно, не позволяет хотя бы затронуть все стороны поставленной проблемы. Ее цель — привлечь внимание к самой возможности подобной постановки вопроса и тем самым дать повод для новых размышлений и конкретных исследований.

## ЛИТЕРАТУРА

Белодед 1968: *Белодед И. К.* Контакты украинского языка с другими славянскими и унификация его устной литературной нормы. Киев, 1968.

Виноградов 1923: *Виноградов В. В.* О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума // *Русская речь*. Пг., 1923.

Демина 1973: *Демина Е. И.* Проблема нормы в формировании книжного болгарского языка XVII в. на народной основе // *Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации*. М., 1973.

Демина 1993: *Демина Е. И.* Традиция и новые тенденции развития славянских литературных языков в преднациональный период // *Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации*. М., 1993.

Дэже 1965: *Дэже Л.* О лексике закарпатской украинской литературы XVI–XVII вв. *Separatum*. Budapest, 1965.

Ларин 1961: *Ларин Б. А.* Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961.

Лудольф 1696: *Ludolf H. W.* Grammatica Russica. Oxford, 1696. Перевод: *Ларин Б. А.* Генрих Вильгельмович Лудольф. Русская грамматика. Л., 1937.

Панькевич 1958: *Панькевич І.* Закарпатський діалектний варіант української літературної мови XVII–XVIII вв. // *Slavia*. 1958. Roč. 27. Seš. 2.

Робинсон 1974: *Робинсон А. Н.* Борьба идей в русской литературе XVII в. М., 1974.

Толстой 1988: *Толстой Н. И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988.

*М. И. ЕРМАКОВА*

### **Роль пуризма в истории верхнелужицкого литературного языка**

Начало действия пуристических тенденций в верхнелужицком литературном языке относится к 40-м гг. XIX в. – переломному периоду в развитии этого языка в эпоху серболужицкого национального возрождения. Проявление пуризма здесь было во многом обусловлено действием факторов, связанных с внешней историей верхнелужицкого литературного языка: растущее влияние немецкого языка в процессе германизации районов с серболужицким населением, особенно протестантских, и развитие у серболужичан двуязычия; отсутствие литературной традиции, а также устоявшихся мнений в области грамматики и взглядов на систему языка, на соотношение литературного языка и диалекта и возможности взаимодействия верхнелужицкого языка с другими славянскими языками, в том числе близким ему по структуре чешским языком.

Верхнелужицкий литературный язык, представленный двумя вариантами – протестантским и католическим, к началу периода национального возрождения имел ограниченные функции, главным образом в церковно-религиозной сфере, а по своему характеру был достаточно консервативен, насыщен большим числом германизмов на всех уровнях языковой системы и особенно в лексике. Кроме прямых заимствований из немецкого языка, в библейских переводах на серболужицкий язык отмечается множество калек немецких образований, гибридных форм и сложных слов, включающих морфемы немецкого и лужицкого происхождения, часть которых свойственна и современным серболужицким диалектам. В некоторых

случаях речь идет о заимствованиях из чешского языка и (реже) польского языка. См., например, в протестантском переводе верхнелужицкой Агенты 1696 г. [Riotte 1959]: *falźna, firz̄tam, fromnych, schlachta, gmejnu, hamt, herba, kelch, lejder, Majestetu, knjeni Mutterzy, natura, Pfararow, regirowac̄, troszt, Turka, wachuje, zejch, źtand, źtundu, źpajsu, schoz (=Schatz), schuz (Schutz), wobwarnowac̄ (=bewaren); domahpyttac̄ (=heimsuchen); hohrè wsali, hohrèberè (=annehmen, aufnehmen)* и т. д. Большое количество германизмов и латинизмов наблюдается в католических библейских переводах Я. Х. Светлика и его словаре 1721 г., ставшем источником лексической нормы верхнелужицкого католического варианта [Michałk 1972]. Влияние чешского и польского переводов Библии характерно для текста перевода Нового Завета М. Френцеля – основоположника протестантского варианта верхнелужицкого литературного языка (1670, 1706 гг.) [Schuster-Šewc 1996].

К первой трети XIX в., когда возникли стимулы и условия для развития литературы светского содержания, прессы, культуры, становится очевидным консервативный характер письменного (литературного) верхнелужицкого языка. По мнению Я. А. Смолера и других деятелей серболужицкого возрождения, он производил впечатление языка, в котором слова “звучали по-славянски, а конструкции образовывались по чужому образцу”. Явным становится и разрыв этого языка с живой народной речью серболужичан, для которых диалект являлся основным средством общения. Издание популярных и научных произведений на серболужицком языке (а именно это являлось основной задачей Серболужицкой матицы, созданной в 40-е гг. XIX в.) потребовало не только выработки новых орфографических норм единого верхнелужицкого литературного языка, но и расширения его лексического состава и совершенствования на всех уровнях языковой системы на основе научного изучения как самого литературного языка, так и народного языка серболужичан [Ермакова 1999]. Для деятелей серболужицкого национального возрождения обращение к народному языку приобретало особое значение, так как именно народный язык противопоставлялся ими верхнелужицкому (письменному) литературному языку и рассматривался в качестве критерия “чистоты” языка (хотя допускалась и возможность “порчи” языка у самих его носителей), базы для обоснования и корректировки нормы верхнелужицкого

литературного языка на новом этапе развития. Процесс его сближения с неиспорченным народным языком, образцы которого сохранились в народных песнях, был сложным и противоречивым [Ермакова 1998]. Стремясь сохранить системное своеобразие верхнелужицкого литературного языка и подчеркнуть национальное своеобразие серболужичан, деятели возрождения обращались к данным серболужицких диалектов и других славянских языков, традициям верхнелужицкой письменности и, таким образом, речь шла об известной реславянизации верхнелужицкого литературного языка. При этом предполагалось "очищение" его от внешних влияний и, прежде всего, от немецких элементов, многие из которых к тому времени заняли прочное место в литературном языке, что было обусловлено специфическими условиями предшествующего периода его развития. В результате серболужицкие авторы предпочитают во многих случаях лужицкий вариант там, где уже существует устойчивое немецкое заимствование. Если соответствующий верхнелужицкий эквивалент отсутствовал, создатели новой лексики обращались чаще всего к чешскому языку, в структурном отношении близкому к верхнелужицкому литературному языку. Отметим, что чешский образец сыграл свою роль и при выработке новой единой верхнелужицкой орфографической системы. Как и в чешском языке, в литературном языке серболужичан процесс "очищения" и формирования новой лексики сопровождается развитием пуристических тенденций, преувеличенных стремлений в подчеркивании славянского характера верхнелужицкого литературного языка путем замены не только более новых, но также и ранних немецких заимствований лужицкими новообразованиями. Об этом свидетельствует материал первого лексического компендиума верхнелужицкого языка, созданного Х. Т. Пфулем (1866 г.) [Pfuhl] при участии таких крупных деятелей серболужицкого национального возрождения как Х. Зейлер и М. Горник. В этом словаре, дающем достаточно полное представление о верхнелужицкой лексике того периода (в том числе и диалектной), пуристические тенденции нашли яркое выражение. Ср., например, введенные в словарь пуристические неологизмы типа *mjeńšina*, *hodžina*, *tysac*, *čitać*, *dwěl*, *ličić* и др. Судьба их в дальнейшей истории верхнелужицкого литературного языка была различной. Так, неологизмы *mjeńšina* (чеш. *menšina*), *hodžina* (чеш. *hodina*, польск. *hodżina*) употребля-

лись соответственно наряду с европеизмом *minuta* (вплоть до настоящего времени), *štunda* (нем. Stunde), последнее затем вытесняется словом *hodžina*. Неологизм *tysac* в словаре Х. Т. Пфуля с пометой “лучше” упоминается еще наряду с немецким заимствованием *tawzynt*, которое впоследствии было окончательно вытеснено из употребления словом *tysac*. В этом же словаре зафиксировано слово *čitać* наряду с заимствованием из немецкого *lazować*, в дальнейшем вышедшим из употребления. Подобным образом сложилась судьба и таких пар слов как немецкое заимствование *cwyfel*, *cwyfl* и немецкой кальки *dwěl*, заимствования из немецкого *rachnować* и *lićić*, распространенного в XIX в. в народных песнях, мужаковском и слепянском диалектах. Некоторые пуристические неологизмы вообще не вошли в верхнелужицкий литературный язык из-за своего искусственного характера и очень условной связи с народным языком. Ср., например, такие слова, как *złotodźej* (нем. Goldschmied), ср. современное образование *kołodźej* ‘колесник, колесный мастер’, употребляемое в современном языке; *sudźbar* (нем. Kritiker), *dołž* (нем. Länge), наряду с которым в словаре Х. Т. Пфуля отмечено *dołhota*, известное в современном верхнелужицком; *wobron* (нем. Ausrüstung), *myslnica* (нем. Studierstube), *sněžka* (нем. Schneeball), *sněhak* (нем. Schneemann), *spěšnik* (в значении нем. Schnellermensch), *swojina* (нем. Eigentum), *dźělnik* (нем. Arbeiter), *dwójina* (нем. Duell), *stoworodnistwo* (нем. Etymologie), *časownica* (нем. Konjugation) и др. В современном верхнелужицком литературном языке находим соответственно *złotnik*, *kritikar*, *dołhota*, *wobronjenje*, *wubronjenje*; *myslnica*, *wuknjenca* [Rězak], *wuknjenca* [Kral], *sněhowa kulka*, *sněhowy muž*, *sněhak* означает ‘лыжа’; слово *spěšnik* употребляется сейчас в значении ‘скорый поезд’, а не ‘спешащий человек’, как у Х. Т. Пфуля; *swójstwo*, *dźetaćer*, *duel*, *stoworodnistwo*, *konjugacija* наряду со словом *časowanje*.

Пуристические тенденции действовали на протяжении всей истории развития верхнелужицкого литературного языка. Они нашли отражение и в крупных лексикографических трудах 20-х гг. XX в. – в словарях Ф. Резака и Ю. Краля, где некоторые из уже укоренившихся в верхнелужицком литературном языке германизмов были ранее даны в переводе. В словаре Ф. Резака интернациона-

лизмы отмечаются лишь в некоторых случаях и обычно заменяются кальками немецких терминов. Сами лексикографы не всегда учитывают опыт предшествующих лексикографических трудов в фиксации германизмов. В современном верхнелужицком литературном языке – интернационализмы, отмеченные в названных словарях, больше не употребляются. Ср., например, *woršta staw – klasa*, *wutrobna žita – aorta*, *hronowa žita*, *hronowka – arterija*. Современные словари иногда (например, DOW) по-разному оценивают тот или иной термин (верхнелужицкий): или указывают на возможность его употребления наряду с интернационализмом, или дают помету “устар”. Очень часто предписания лексикографов не согласуются с писательской практикой, в которой многое зависит от стиля художественного произведения и его жанра.

Языковая ситуация, сложившаяся в Лужице в послевоенный период, способствовала оживлению пуристических тенденций. Запрет на серболужицкий язык, насильственный перерыв в его функционировании и развитии отрицательно сказались на характере литературно-языковой нормы и отношении к ней нового поколения носителей серболужицкого языка, у которых не было контакта с серболужицкой литературной традицией и знания нормы верхнелужицкого литературного языка. На этом фоне возникает новая сильная волна пуризма, особенно в 40–50-е гг. XX в. Для этого периода характерно неоправданное экспериментирование в формо- и словообразовании, которое привело к усложнению нормы литературного языка и непониманию его самими носителями, удаленности от народного языка. В условиях, когда у самих серболужицких писателей отсутствовало знание системы и структуры народного языка, которым пользовалось большинство серболужичан, возникает проблема сближения консервативной по своему характеру литературной нормы с узусом живого разговорного языка. В этот период изменения в верхнелужицком литературном языке осуществлялись под влиянием других славянских языков и иногда носили принципиальный характер. Особая роль и здесь принадлежала чешскому языку, под воздействием которого возрождаются такие языковые элементы, которые уже в предшествующий период истории верхнелужицкого литературного языка ощущаются как архаические, чуждые серболужицкому разговорному языку, вводятся заимствования и образования по моделям, свойственным или чешскому, или



другим славянским языкам. Внедрение искусственных форм со славянскими чертами с целью создания “хорошего” и “чистого” литературного языка, усиление этого процесса было связано с изменениями в языковой ситуации, в политических, общественных и культурных условиях. По замечанию Г. Шустера-Шевца [Шустер-Шевц 1995: 20], серболужицкий языковой пуризм этого периода являлся своего рода реакцией на усиливающееся подчинение серболужицкого языка немецкому влиянию, что выражалось в интенсивном воздействии немецкого языка на структуру серболужицкого языка, обусловленном немецко-серболужицкой интерференцией.

Оценка такого сложного явления как пуризм, прошедшего в истории верхнелужицкого литературного языка ряд этапов с характерными для каждого этапа особенностями, не может быть однозначной. Он является внешним проявлением защиты народной самобытности в специфических условиях серболужицкой языковой ситуации в период серболужицкого национального возрождения, когда шло формирование единого верхнелужицкого литературного языка. Обращение к другим славянским языкам, выработка новых позиций в отношении к заимствованиям, стремление подчеркнуть национальное своеобразие серболужичан, проявляющееся в языке, сыграло свою роль в совершенствовании верхнелужицкого литературного языка, который в период национального возрождения стал объектом научного изучения. С периодом начала действий пуристических тенденций связана деятельность крупных представителей серболужицкого возрождения над расширением лексического состава верхнелужицкого литературного языка [Stone 1971], создание терминологических систем в различных областях знания, выработка новых позиций в отборе лексических и грамматических средств. В то же время осуществление пуристических установок на реславянизацию верхнелужицкого литературного языка вело к отрыву этого языка от народного языка серболужичан, большая часть которых пользовалась своим диалектом наряду с немецким языком и оставалась пассивным адресатом, на язык которого литературный язык не оказывал заметного влияния.

## ЛИТЕРАТУРА

Ермакова 1998: *Ермакова М. И.* Проблемы развития верхнелужицкого литературного языка в период национального возрождения // Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998. С. 89–119.

Ермакова 1999: *Ермакова М. И.* Развитие норм серболужицких литературных языков в связи со спецификой языковой ситуации // Проблемы славянской диахронической социолингвистики: динамика литературно-языковой нормы. М., 1999. С. 106–143.

Шустер-Шевц 1995: *Шустер-Шевц Г.* Серболужицкий язык и его изучение // Проблемы становления и развития серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1995.

Michałk 1972: *Michałk Fr.* Latinizmy i germanizmy w rěči J. H. Swětlika. Přinošk k stawiznam hornjoserbskeje spisowneje rěče // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin, 1972. Rjad A – rěč a literatura. Č. 19/1.

Riotte 1959: *Riotte Jules C. E.* Die Obersorbische Agenda von 1696. Text und Untersuchungen. Berlin, 1959.

Schuster-Šewc 1996: *Schuster-Šewc H.* Die Sprache des Michael Frentzel (Ein Beitrag zur Dialektgrundlage der obersorbischen Schriftsprache) // Z historii języków łużyckich. Warszawa, 1996. S. 87–113.

Stone 1971: *Stone G.* Lexical Changes in the Upper Sorbian Literary Language during and following the National Awakening // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin, 1971. Rjad A – rěč a literatura. Č. 18/1.

*В. С. ЕФИМОВА*

### **О выражении значения суперлатива формами компаратива в старославянском языке**

К категории суперлатива обычно относят “относительную” превосходную степень (“собственно суперлатив”) и “абсолютную” превосходную степень (суперлатив с элятивным значением). Старославянский язык не имел специальных синтетических форм (особых форм прилагательных и адъективных наречий) для выражения суперлатива. При этом старославянские тексты в большинстве своем представляют собой переводы с греческих оригиналов. В греческом языке, как известно, имелись формы для выражения значения как компаратива, так и суперлатива, однако в эпоху создания текстов Св. Писания и раннехристианской литературы уже начался процесс разрушения греческой системы распределения значений компаратива и суперлатива между соответствующими формами. В частности, это выражалось в экспансии форм компаратива в “сферу действия” “собственно суперлатива” – т. е. “относительной” превосходной степени (ср. также [Blass-Debrunner 1961: 32–33]). Таким образом,

славянские древние книжники столкнулись с проблемой передачи значения суперлатива при переводе текстов с языка оригинала, имеющего нестабильную систему форм компаратива: суперлатива, на славянский, вовсе не имеющий форм суперлатива.

А. Вайан в свое время указывал следующие способы выражения в старославянском языке категории суперлатива: «“абсолютная” превосходная степень... выражается или наречием со значением “очень, весьма”..., или посредством увеличительной приставки **прѣ-**»; «относительная превосходная степень... передается формой сравнительной степени...», и, кроме того, «греческая превосходная степень, относительная и абсолютная, переводится обычно простым прилагательным» (т. е. прилагательным в положительной степени – В.Е.) [Вайан 1952: 164]. Те же указания находим в грамматиках по старославянскому языку (см. например, [Грамматика 1991: 202]).

Обращение к данным изданного в 1994 г. “Старославянского словаря (по рукописям X–XI веков)” заставляет пересмотреть (уточнить) роль приставки **прѣ-** при передаче значения “абсолютной” превосходной степени (суперлатива с элятивным значением). Для этого словаря (одним из авторов и редактором которого является Раля Михайловна Цейтлин) характерен полный учет всех словоупотреблений старославянских лексем во всех рукописях так называемого “старославянского канона”, что отражено в словарных статьях путем указания количества употреблений лексемы, всех ее греческих соответствий, а также рукописей, в которых она встречается (а у малочастотных лексем и полного набора “адресов”). Судя по данным словаря, основным назначением приставки **прѣ-** был не перевод форм греческого суперлатива, а передача греческих приставок **ὑπερ-** и **παν-**. Лишь в некоторых случаях прилагательные с приставкой **прѣ-** употребляются для передачи греческого суперлатива: **прѣмждрь** переводит не только греч. σοφός, но и σοφώτατος, **прѣподовьнь** – не только греч. ὁσιος, но и ὁσιώτατος, **прѣпростъ** переводит, как правило, ἀπλοῦς, но в одном случае словарь указывает и вариант греческого текста с ἀπλούστατος [СС: 547, 548, 549]. Ср., однако, целый ряд зафиксированных словарем калек: **прѣ-святъ** – παν-άγιος, **ὑπερ-άγιος**, **прѣ-сквьньнь** – παν-μίαρος, **прѣ-сквьньнь** – παν-ώδυνος, **прѣ-славнь** – ὑπερ-ένδοξος, παν-εύφημος, **прѣ-старѣвѣын** – ὑπερ-όριος, **прѣ-тьмень** – παν-έσπερος, **прѣ-хвальнь** – παν-εύφημος, **прѣ-щедрь** – παν-οικτίρμων, **прѣ-чьстьнь** – παν-

τιμος [СС: 550, 551, 554, 555]. Следует учесть также, что и сам А. Вайан отмечал “специальное религиозное” (т. е. особое религиозно-терминологическое) употребление таких прилагательных как *прѣсвятъ*, *прѣмъдръ*, *прѣподобнь* [Вайан 1952: 164]. Как видим, лексемы с приставкой *прѣ-* чаще соответствуют греческим прилагательным в положительной степени, а не формам суперлатива.

Другой путь выражения значения “абсолютной” превосходной степени в старославянском языке, указанный Вайаном и грамматиками, – аналитический, с помощью наречия. Приведем здесь пример выражения данного значения с помощью наречия *σέλο*: ‘Ο τόπος... κρημνὸν ἔχει κατὰ δυσμᾶς ὑψηλότετον – Мѣст°... вѣгъ имать на западъ . и *высокъ σέλο* . (Супр 300,1). Вместе с тем наши наблюдения показывают, что встречающиеся в греческих оригиналах формы суперлатива со значением “абсолютной” превосходной степени могут передаваться в славянском переводе формами компаратива. Например, высшая степень преступной, злодейской сущности цесаря (как его безотносительный признак) выражается в греческом тексте формой суперлатива *παρανομώτατος*, а в славянском переводе – формой компаратива *безаконьнѣи*: *ὁς παρανομώτατος ὑπάρχων, ὡς ἄλλος Ἀχαάβ, κατὰ τῶν ἀγίων τοῦ θεοῦ ἐκκλησιῶν ἐξεμάνη* – иже *безаконьнѣи* сты . и акты ннѣ *ахаавъ* . на сватъѣмъ божиѣмъ црѣкви *възвѣси са* (Супр 190,20–21). Подобным образом высшая степень душевных усилий Иоанна Молчаливого (как безотносительный признак его личности) выражается в греческом оригинале при помощи формы суперлатива *προθυμώτατος*, а в славянском переводе – формой компаратива *поустынѣи*: *καὶ ἐστὶν λίαν πρεσβύτης καὶ φαῖδρός τῷ προσώπῳ καὶ τῇ ψυχῇ προθυμώτατος* – и ксть *зѣло старъ* . и *свѣтлѣ* лицемъ и *доушеи* *поустынѣи* (Супр 302,21) и др.

Ввиду упомянутого выше “смещения” форм компаратива и суперлатива при выражении значения суперлатива в греческих оригиналах, значение “абсолютной” превосходной степени могли иметь и старославянские формы компаратива при переводе греческих форм компаратива. Так, например, при трактовке в Слове Иоанна Златоуста известного евангельского сюжета о “блуднице”, возливающей на голову Иисуса драгоценное миро (Мт 26,7; Мк 14,3; в тексте гомилии она названа *πόρνη*), формы греческого компаратива *βελτίων* и *σωφρονέστερος* ‘добрейшая и мудрейшая’ передаются

формами славянского компаратива *доврѣни* и *мѣдрѣни*: *προσηλθε πόρνη ἀλάστρον μύρου ἔχουσα... ἐγένετο βελτίων καὶ σωφρονεστέρα* – *приде блждница стьклѣнницѣ мѣра дрѣжашти... бгысть доврѣнши и мѣдрѣнши* (Супр 408,15–16). Такие формы компаратива со значением “абсолютной” превосходной степени могли употребляться и в качестве субстантивированных. Например, в греческом тексте евангельского чтения Мт 23,23 ‘наиболее важное, наиболее существенное’ в Законе, которое, однако, отбросили прочь книжники и фарисеи, выражено формой компаратива с артиклем *τὰ – τὰ βαρύτερα* (Pl.n.): *καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν*. В славянском переводе *τὰ βαρύτερα* передается субстантивированной формой компаратива *тѣжшшаа* (мн.ч. ср.р.): *и оставште тѣжшшаа закона сѣдѣ и милость и вѣрж* (Мар).

“Относительная” превосходная степень (“собственно суперлатив”) выражает сравнение предмета с множеством предметов. Как показывают последние исследования категории суперлатива, на нее, в отличие от компаратива, накладываются ограничения как на выбор и способы выражения стандарта сравнения, так и на денотативный (референциональный) статус объекта сравнения [Функц. грамматика 1996: 135–136]. Это значит, что стандарт сравнения может представлять собой только некоторое множество, элементы которого не могут быть перечислены, а объект сравнения выделяется из того же множества, что и стандарт. В языке греческих оригиналов старославянских текстов – в результате экспансии форм компаратива в сферу суперлатива – значение “собственно суперлатива” выразилось как формами суперлатива, так и формами компаратива. При этом стандарт сравнения характеризовался местоимением *πᾶς* ‘весь, целый’ и ‘всякий, каждый’ (Gen. или Acc.), иногда местоимением *ὅλος* ‘целый, весь’. В старославянском переводе греческим формам суперлатива и компаратива соответствуют формы компаратива, стандарт сравнения характеризуется местоимениями *вьсь* и *вьсѣкъ* (Gen.). Например, в тексте, где Моисей сравнивается со всеми людьми, живущими на земле, форма греческого суперлатива *πρώτατος* переводится формой славянского компаратива *кротъчан*: *ὁ γὰρ Μωϋσῆς, φησίν, ἄνθρωπος πρώτατος παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς – чловѣкъ бо мωϋсин рече . кротъчан паче вьсѣхъ чловѣкъ . иже на земн* (Супр 383,25). Или, например, в тексте о Св. апостоле Фоме греческая форма компаратива

πλατύτερος переводится формой славянского компаратива **ширни**: *πλατύτερος ἐφάνη τῆς κτίσεως ὅλης ἔσπειρεν αὐτὸν ἢ χάρις ἐν κόσμῳ* – *ширни тави сѧ вьсеа твари . и възнесе и благодѣть въ мирѣ* (Супр 508,27). В греческом оригинале стандарт сравнения мог вообще никак не характеризоваться. Например, греч. *θεογονωσίας ἀνθρώποις ὄργανον, τῆς κτίσεως δυνατώτερον* переводится как *Чкѣ естъ съсждъ . твари вьсеа сѧнѣн* (Клоц 10а 16).

Таким образом, в старославянском языке формы компаратива служили для выражения как значений компаратива, так и значений суперлатива. Значение суперлатива во всех случаях использования разных языковых средств выявляется из контекста.

## ЛИТЕРАТУРА

Вайан 1952: *Вайан А.* Руководство по старославянскому языку. М., 1952.

Грамматика 1991: Грамматика на старобългарския език. Фонетика. Морфология. Синтаксис. София, 1991.

Функц. грамматика 1996: Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996.

Blass-Debrunner 1961: *Blass F., Debrunner A.* A Greek grammar of the New Testament and other early Christian literature. Cambridge, 1961.

Л. Э. КАЛНЫНЬ

### **Об отражении языковых и графических представлений носителя диалекта в зеркале “наивного письма”**

Лингвистическое изучение письменных текстов традиционно ассоциируется с анализом памятников письменности, хронологически в разной степени удаленных от современности. Целью такого анализа является реконструкция языковых фрагментов прошедших эпох и извлечение аргументов для истории соответствующих языков. Процедура изучения памятника подразумевает участие двух компонентов – лингвиста, производящего анализ (субъект), и сам памятник в качестве носителя первичной информации (объект). В процедуре отсутствует автор текста как носитель определенной языковой компетенции. И это независимо от того, идет ли речь об авторе сакрального текста или рукописи крестьянина (пример последнего –

рукопись серболужицкого крестьянина начала XIX в., использованная в [Vrijnen 1998]). Языковая характеристика автора реконструируется на основе анализа текста. Особое значение при этом придается фактам проникновения в текст явлений живого языка и отклонениям от предполагаемой нормы.

Между тем, в последнее время актуальной стала идея, согласно которой заслуживают внимания лингвистов тексты, которые, благодаря своему особому несоответствию кодифицированной норме, содержат свидетельства об особенностях разных форм языка и культуры наших дней, т. е. середины XX в. Это – так называемое “наивное письмо”. Авторы, указывающие на познавательную ценность таких текстов, следующим образом определяют понятие наивного письма. Это – письменная речь людей, для которых “сама практика письма не является обязательной ни в профессиональной, ни в общественной жизни”. Они не владеют кодифицированной нормой “не в том смысле, что не знают как правильно, а в том смысле, что вообще не подозревают о ее существовании” [Козлова, Сандомирская 1996: 13, 40].

Авторы текста, репрезентующего наивное письмо, синхронно сосуществуют со своим текстом, с одной стороны, и с лингвистом, анализирующим этот текст, с другой. При этом известна и языковая компетенция автора. В этих условиях анализ наивного письма не только вскрывает его особенности через призму наличия/отсутствия отклонений от кодифицированной нормы. Как пишет Е. А. Земская, такие тексты “показывают нам, как их автор воспринимает язык, как членит речь на слова и высказывания, как он членит сами слова, какие знаки графики он использует ...и, наконец, как он интерпретирует те или иные факты языка” [Земская 1996: 466]. В результате создается картина языкового менталитета автора наивного письма, его отношение к передаваемым на письме языковым/речевым фактам. Особое значение в этом плане Е. А. Земская придает такому жанру как письмо, остроумно называя их “берестяными грамотами XX в.”. Возможности получения лингвистической информации из современного текста-письма, написанного носителем русского просторечия, показаны Е. А. Земской в цитированной работе.

В данной статье предпринят анализ адресованного ее автору письма, написанного в 1982 г. жительницей с. Мелешово Тотемского р-на Вологодской обл. А.К. (1917 г. рожд.). Автор письма является носителем вологодского говора, обследованного в 1979 г. по

специальной фонетической программе и описанного в [Калнынь, Масленникова 1985]. Цель статьи в том, чтобы показать, как через модель индивидуального языкового и графического поведения, отраженного в письме, проявляется отношение его автора к отдельным языковым явлениям.

Письмо написано на четырех тетрадных страницах и содержит около 400 словоупотреблений. В качестве одного словоупотребления выступают сочетания предлогов и частицы *не* с последующим словом. Такие сочетания А.К. воспринимает как одно слово. Поэтому она пишет *втой деревне, вмой дом, наповороте, невидит, нехожу, уноры, намелешово, немогла, нароботу* и др. Примечательно наречие в *приеждайте безозву*, (т. е. без приглашения), в котором классически правильно распределена рефлексация \*ъ.

По своей фонетике говор д. Мелешово является окающим, цокающим, имеющим прогрессивное смягчение задненебного согласного, билабиальную артикуляцию губного спиранта, невелиаризованное образование латерального сонанта, т. е. *л'*. Фонетика говора не могла не отразиться в письме, что подтверждается следующим образом.

Благодаря оканью буквы *а* и *о* в безударных слогах употребляются правильно – *4 года с половиной, идет дорогой, огорот городит и траву обирает* и т. д. Как известно, в письмах малограмотных акающих авторов часто написание *а* вместо *о* в безударных слогах. В рассматриваемом тексте пример этого только в написании *библиотеке*, что нормально отражает услышанную фонетику чужого слова. Такая вокальная особенность как изменение безударного *е > о* после мягких согласных отразилась в одном написании *здрастуйтё*, но и *зрастуте, пишыте*.

В письме есть написание *сережа пришло изарми*. Гласный *о* в конце 1-ггс. напоминает явление, встречающееся в архангельских говорах и описанное в [Касаткин, Касаткина 1998]. Генезис гласного *о* в этом случае не имеет однозначного толкования (элемент постпозитивной частицы?, рефлекс \*ъ?).

Редкий фонетический факт репрезентует и написание *я невидяла*, подразумевающее сочетание *д'а* в заударном слоге. Возможно, в этом отражено явление, подобное тому, которое отмечено в архангельских говорах и описано Р. Ф. Касаткиной, а именно – произношение широкого гласного в безударном слоге на месте \*ё, что может указывать на исконно более широкое образование этого праславянского гласного в соответствующих говорах [Касаткина 1989].



А.К. правильно употребляет буквы *ы* и *и* – *сын, пришел, уноры, мои дорогие люси* и под. Но написания *нинче, четыре* как бы указывают на то, что А.К. ощущает функциональное тождество звуков, передаваемых буквами *и* и *ы*. Возможно, на выбор буквы *и* вместо *ы* повлияло и наличие передних гласных в соседних слогах. В этой связи показательно варьирование букв *ю* и *у* в написаниях *Нюры//Нуры*. При написании с гласным *у* речь не идет о твердости предшествующего согласного. Скорее всего, здесь приоритетное значение придается мягкому согласному в сегменте *н'у*, а графическое обозначение этой мягкости А.К. кажется избыточным.

Цоканье отражено в написании *правнуцкя*. Но чаще представлено употребление буквы *ч* как в правильном значении, так и в гиперизмах – *внучкя, тысячу, доч, надаху* и др. и *серчем* (тв.), *челюу*, а также *ксеречкему* (топоним Серецкое). В этом просматривается желание А.К. корректировать цоканье как отрицательно оцениваемое явление. Однако такая оценка появляется при письменной фиксации своей речи, поскольку в устной практике А.К. не обнаруживала склонности к вытеснению цоканья (мягкого). Особую замену согласный *ц'* получает после *с* – *желаю вам стяся* (счастья), *быть вам стясливым*. Как отмечает В. В. Колесов, при наблюдении над цоканьем носители орфоэпической нормы нередко воспринимают аффрикату *ц'* как *т'* [Колесов1975: 12]. Написание *стяся* указывает на объективное изменение *ц' > т'* после зубного спиранта.

Прогрессивное смягчение задненебного согласного отражают написания *внучкя, дочкю, помале(нь)кю, подлошечкей, ксеречкему*, но *коровой, половиной, дорогомю*, т. е. флективный *е* после ассимилятивно мягкого задненебного.

Произношение *й/ш* перед согласным вызвало написания: *вот Феррале* – опущен предлог *в* (фонетически *й/ш*), сочетание *йр* ощущается как двучленное, но билабиальный спирант не ассоциируется с буквой *в* и поэтому А.К. пишет *рр*; та же проблема сочетания *йр* решается путем написания одного *р* в *шестово Фераля*. Предлог *в* пропущен также в: *Лена библиотеке работает; обе сваеи деревне; сережа 9 Клас ходит*. Аналогичное явление репрезентует написание *у нас деревня се* (=все) *убывае*.

Двойным согласным, образующимся на стыке морфем, в письме соответствует одна буква – *изаозеря* (=из Заозерья), *200 рублей одала, пала и душу одала, домой Галине* (=кг), *в дом упреся* (=сс, шс), но и *отделно*. Это означает, что двойной согласный в сознании

А.К. не ассоциируется с графическим представлением, отличным от того, которое применимо к одному согласному той же артикуляции.

Диссимиляция согласных по способу образования отражена в написаниях *сварба* (=свадьба), *кто*. Можно также отметить варианты написания слова 'еще', которое в говоре произносится *ешчо*, а в письме – *иче 2 дома* и *еще привет от сватовеи*. За этим варьированием нет фонетических представлений, а лишь неуверенность в написании.

Оглушение шумных согласных отражено в *огорот городит*, *хлеп*, *гот*, *кто небуть*.

Особенностью письменного опыта А.К. является пропуск конечного согласного в слове. Чаще это касается сонантов, реже шумных согласных. Так, *магази(н) рядомь*, *вот так и живе(м)*, *топер все поталона(м)*, *спривето(м) тета саша*, *работала секлетаре(м)* и *в трех дома(х) поо(д)нои старухе*, *уна(с) деревня се убывае*. Надо полагать, что пропуск конечных согласных является следствием того, что конец слова находится в зоне сниженного внимания говорящих/пишущих. Основная информация о слове как бы заканчивается на последнем гласном, а следующий сегмент попадает в зону альтернативной оценки, т. е. сохранить/опустить. Особенно благоприятна для пропуска конечного согласного группа гласный+сонант: обладая общим признаком голосности, она воспринимается как нечто целое, в котором сонант выступает в роли пазвука, завершающего слово. Роль такого пазвука особенно подходит губному сонанту благодаря смычному губному компоненту его артикуляции, что и способствует пропуску буквы. Можно отметить, что для говора д. Мелешово вообще характерно ослабление консонантного конца слова – *доп < бр#*, *жура́ф'*, *п'ет' нас < см#* (род.мн), *п'ет' повес < см#*, *р'емат'ис*, *хвос*, *гвос'*.

Специфическую особенность письма А.К. создает отношение автора к использованию букв *й* и *ь*.

Часто вместо *й* пишется буква *и* – *зрастуите*, *дорога поидет*, *втои деревне*, *домик мои так стоит*, *самои ходит наде*, *9 семеи*, *поиде на роботу*, *отсватовеи*, *подлошечкеи*, *11 жытелеи*, *веснои* (тв.), *поо(д)нои старухе жы(в)е*. Употребление буквы *й* более редко – *ней 4 года споловиной*, *200 рублей*, *в мой дом*, *дорогой*, *передавай*.

Особенность буквы *й* состоит в том, что она в сознании лингвистически неискушенного лица не имеет однозначного звукового эквивалента (в отличие от *а*, *б*, *м* и пр.). Это отражается и в

самом названии буквы “и краткое”. При наивном письме, когда написание сопровождается в сознании автора пересчетом не только слогов, но и звуков, в репертуаре этих звуков нет эквивалента буквы *й*, так как в естественной речи палатальный спирант (или неслоговой *и*) изолированно не произносится. При возникающем в этой ситуации недоумении автор текста заменяет букву *й* буквой *и*. Правильное употребление буквы *й* указывает в то же время, что некие навыки использования этой буквы присущи А.К. Из сказанного вытекает, что мена букв *й* и *и* не отражает реальную фонетику, а является лишь экспликацией индивидуального приема графического оформления текста. Характерно, что в письме просторечно говорящего автора, опубликованном в [Земская 1996], также встречается написание *и* вместо *й* – возможно, эта графическая особенность является общей чертой письма лиц, не владеющих нормой в ее устном и орфографическом вариантах.

Что касается буквы *ь*, то ее употребление в письме достаточно своеобразно.

Правильно обозначается мягкость буквой *ь* в *зеть, жить, хто небуть, звать Наташа*. Буква *ь*, требуемая орфографически, отсутствует после твердого согласного в *идеш*. После мягких согласных *ь* отсутствует в *неоч(е)н хорошое, ден рожденья, хотбы, затотму* (=Тотьма), *сварба, невидит нескол(ь), одделно, самои ходит наде*. Из этих описаний реальную фонетику отражает *одделно*, так как для говора характерно изменение *л' > л*: перед твердыми зубными и передненебными согласными (*купáл'но, пó сол'ту, бол'шб'й*). Другие приведенные написания указывают на то, что в сознании А.К. высокий тон согласных не ассоциируется с необходимостью его специального обозначения.

Буква *ь* всегда отсутствует в тех случаях, когда она должна сигнализировать произношение палатального спиранта между согласным и гласным – *изаозеря, своя семя, осенью, ден рожденья, здорове, ваши семи* (им.мн.), *святя, досвиданя, доброго здорovia и стяся* (здесь *ст' > с'*). В произношении А.К. в таких словах спирант присутствует (*р'йа, м'йа, в'йе, м'йи, н'йа, с'йа*). Но, по-видимому, это произношение для А.К. не ассоциируется с буквой *ь*. Для письменной передачи названных сочетаний достаточно букв, которые в своем названии содержат *й* (*йа, йу*). Из этого объяснения выпадают написания *здорове* и *семи* (=семьи). Но возможно здесь уже действует стереотип отсутствия в этих словах буквы *ь*.

Примечательной особенностью графического опыта А.К. является немотивированное (этимологически, фонетически) употребление буквы *ь*. Это проявляется в частом написании буквы *ь* после конечного *т*, в том числе в глагольных формах 3 л. ед., которые в реальности имеют окончания *-т* или *-ѳ* (ноль): *невидить нескол, придетъ домои, вотъ мои дорогие, Таня ходить, домики мои так стоить, огород городит и траву обираетъ, покупаютъ надачу бывать купятъ хто небутъ, подлошечкей давить и жага все горит, я все тутъ пока, приветь отъ сватовеи, передавай приветь, 80 летъ 4 дня, готъ будетъ* и даже *ето отъ Ньюры*. Не после *т* немотивированная буква *ь* употреблена только в *рядомъ*.

Затруднительно делать какие-либо предположения о причинах появления этого графического приема в письменной практике А.К. Несомненно за этим стоит некое представление о правильности написания и даже, может быть, о респектабельности письменного текста. Однако, что именно лежит в основе этого представления – не ясно.

Из всего сказанного выше можно заключить, что наивное письмо даже в таком небольшом объеме, какой показан в рассмотренном тексте, обладает достаточной информационной насыщенностью. В наивном письме вскрывается отношение автора к явлениям своего языка, выбор способов их графической передачи, а также обнаруживаются предпочтения автора в создании графической картины текста.

## ЛИТЕРАТУРА

Земская 1996: *Земская Е. В.* Письма просторечно говорящих как источник изучения некодифицированных сфер русского языка и субкультуры // Руссистика. Славистика. Индоевропентика. М., 1996.

Калнынь, Масленникова 1985: *Калнынь Л. Э., Масленникова Л. И.* Опыт изучения слога в славянских диалектах. М., 1985.

Касаткин, Касаткина 1998: *Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф.* Рефлексы редуцированных гласных в конце слова в русских говорах // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.

Касаткина 1989: *Касаткина Р. Ф.* Об условиях использования единичных речевых фактов для фонологических реконструкций: рефлексы \*ѣ в современных архангельских говорах // Проблемы доказательства и типологизации в фонетике и фонологии. Материалы всесоюзного совещания. М., 1989.

Козлова, Сандомирская 1996: *Козлова Н. Н., Сандомирская И. И.* "Я так хочу назвать кино". "Наивное письмо": опыт лингво-социологического чтения. М., 1996.

Колесов 1975: Колесов В. В. Расшифровка фонетической системы современного говора (на материале севернорусского цоканья) // Севернорусские говоры 2. Л., 1975.

Brijnen 1998: Brijnen H. Die phonologische Entwicklung des Schleifer Dialekts im 19. und 20. Jahrhundert // Studies in Slavic and General Linguistic. Amsterdam – Atlanta, 1998. Vol. 24.

Г. П. КЛЕПИКОВА

### Наблюдения над лексикой румынских переводов славяно-румынских текстов конфессионального характера (XVI–XVII вв.)<sup>\*</sup>

Под термином *славяно-румынские тексты* понимают – прежде всего в румынской филологии – памятники письменности XIV–XVII вв. на книжнославянском языке румынской редакции (=КЯРР), который является *вариантом* древнеславянского (=церковнославянского) языка. Румынское соответствие – *slavonă românească, limba literară slavo-română*) [Mihăilă 1973: 118–119; Джамо 1963: 109]. КЯРР представлен рукописями различного содержания, прежде всего конфессионального, а также документами канцелярий господарей Румынских Княжеств (Валахии и Молдавии – XIV–XVI и отчасти – XVII вв.), надписями (например, на бытовых предметах, церковной утвари и под.). Указанный термин – *славяно-румынские тексты* – был предложен видным румынским славистом И. Богданом в конце XIX в. Ныне он функционирует как основной прежде всего в румынской славистике (труды акад. Г. Михаилэ, его учеников и соратников), принимается учеными в некоторых других странах, но не является, к сожалению, общепризнанным<sup>1</sup>.

КЯРР определяется как *среднеболгарский* в своей основе; кроме того, он, с одной стороны, содержал также черты иных редакций (=древнесербской, русско-украинской), а, с другой, – особенно в сфере оригинальных текстов, – испытывал все возраставшее влияние *живого народного* языка – румынского [Mihăilă 1973: 118]. Несомненно, что КЯРР и его историю следует рассматривать в более

<sup>\*</sup> Материалы для статьи собраны в рамках работы по исследовательскому проекту, получившему финансовую поддержку РФНФ (№ 95-06-17509).

<sup>1</sup> Анализ иных терминов см. в: [Djamo-Diaconița 1971: 12–13].

широком контексте – в масштабах книжнославянского (=древнеславянского) языка в целом, который в настоящее время предлагается понимать как единый литературный (=культурный) язык ряда славянских и неславянских народов – на определенном этапе их истории. По мнению Н. И. Толстого, в структурно-нормативном плане историю этого языка целесообразно анализировать как смену периодов его централизации (=“нормализации”) и децентрализации (вследствие возникновения локальных типов, в том числе – и КЯРР), а в *экстралингвистическом* (=географическом) плане – как смену (=миграцию) книжнописьменных центров, и – соответственно – рост влияния “народно-разговорных субстратов” [Толстой 1998: 77–78; 88–89; 76–77].

Таким образом, функционально КЯРР играл роль книжнописьменного идиома, который базировался на культурной традиции высших слоев феодального общества Румынских Княжеств (и – отчасти – Трансильвании). Он был чужд живому языку, носителем которого был *неславянский* этнос. КЯРР вначале служил инструментом расширения сферы влияния восточной христианской обрядности, а позднее стал языком культуры в указанных землях и – в значительной степени (наряду с латинским) – официальным языком канцелярий господарей Валахии и Молдавии. В известном смысле роль КЯРР близка, но не тождественна роли средневековой латыни в странах Западной и Центральной Европы [Djamo-Diaconița 1971: 11].

Проблема изучения КЯРР важна для славистики, ее значение определяется прежде всего тем, что “...Молдавия и Валахия еще с эпохи «второго южнославянского влияния»... выполняла роль активной культурной посредницы между южными и восточными славянами” [Толстой 1998: 146]. Это хорошо понимали, например, российские ученые (П. Сырку, П. Лавров, А. Яцимирский, позднее – С. Бернштейн и др.) и ученые других стран (Л. Милетич, Е. Калужняцкий и под.). Кроме того, в данном случае мы имеем дело с достаточно уникальной ситуацией в истории литературных языков, когда базой (и “эталоном”) при переводе служил *славянский* текст.

Но, разумеется, всестороннее исследование КЯРР, и в том числе – процесса постепенного вытеснения его из употребления в Румынских Землях румынским языком, является с конца XIX–начала XX вв. и в настоящее время одной из основных задач румынской филологии (в частности, румынской *славистики*, – ср. труды Б. Хаждеу, О. Денсушяну, И. Богдана, П. Панаитеску, А. Россети,

Г. Михайлэ, Л. Джамо, П. Олтяну и др.). Ныне это позволяет детально описать весь период использования КЯРР и интерпретировать *переход* к использованию румынского языка в качестве книжнописьменного (а также *расширение* его функций) как сложный процесс, начавшийся в XVI в., причины которого видят в существенных изменениях социолингвистической ситуации в Княжествах. Она характеризуется прежде всего стремлением интеллектуальной элиты Валахии, Молдавии и Трансильвании создать новый, понятный для большей части общества, книжнописьменный (=“литературный”) язык. Подобный процесс в тот же период фиксируется и в истории многих народов Западной и Центральной Европы (в том числе – славянских и балканских). Его рассматривают в качестве манифестации общей “тенденции к демократизации” культуры, письменности и литературного языка. Исследователи указывают, что внешне эта тенденция проявлялась в “сдвигах” в языковой ситуации и появлении книжнописьменных идиомов у народов, ранее не имевших традиционной письменности *на этнически родной основе*, а также – в вытеснении чужих письменных языков, функционировавших у того или иного народа в условиях гетерогенного литературно-языкового двуязычия<sup>2</sup>. Обращается внимание и на иные причины, приведшие к коренным изменениям ситуации в Румынских землях. В этой связи подчеркивается, например, особая роль распространения идей Реформации (прежде всего в Марамуреше, Трансильвании)<sup>3</sup>.

Возникновение и функционирование нового – румынского – книжнописьменного идиома, основанного на живой, народной речи, на определенном этапе его развития привело к сосуществованию двух разновидностей письменного языка (т. е. к “диглоссии”). Для румынской ситуации отмечается параллельное существование в XVI–XVII вв. (отчасти – и в XVIII в.) текстов на традиционном ЛЯ (=КЯРР) и на новом, румынском. В этот переходный период возникает и *возможность* (и необходимость!) переводов с первого языка на второй (также – и с венгерского). Подобные переводы начинают появляться с середины XVI в., сначала – как рукописные, позднее, благодаря деятельности диакона Кореси, – и

---

<sup>2</sup> Подробнее: [Демина 1993: 122 и с.л.]; определение диглоссии см. у: [Успенский 1983: 405].

<sup>3</sup> Подробнее: [Rosetti 1966: 187, 191]. О причинах появления первых переводов на румынский богослужебных книг см. также и: [Mihailă 1967: 530].

старопечатные книги [Rosetti 1966: 197–198]. Весьма распространенной в этот период была практика создания двуязычных текстов – как правило, конфессиональных. Чаще всего славянский и румынский тексты располагались в виде колонок, столбцов или подстрочных соответствий (и лишь в “Синтагма” румынский эквивалент присутствует в виде глосс); начиная с XVII в. конфессиональные тексты издаются только на румынском.

При изучении данного периода румынской письменности – XVI–XVII вв. – важной проблемой является выяснение характера и качества первых переводов с КЯРР на румынский, и в том числе – по данным двуязычных текстов. Оценки этих переводов достаточно суровы, ср., например, характеристику их акад. А. Росетти: “...Чуждые духу нашего языка... конструкции свидетельствуют о неумении первых переводчиков и о трудностях, с которыми они сталкивались, чтобы передать в бедном языке, лишенном абстрактных терминов и не обладавшем литературной традицией, изощренность библейских текстов. Ожидаемым результатом стало рабское подражание фразеологии оригиналов, без учета естественного порядка слов в румынском” [Rosetti 1966: 304]. При этом признается необходимым изучение языка румынского перевода в сравнении, параллельно со славянским оригиналом. Впрочем, даже в “непереводных” румынских текстах, которые не испытали прямого влияния иноязычных (=славянских) моделей, отмечаются фразы, стереотипные выражения, восходящие к славянскому первоисточнику. Вместе с тем, при общей справедливости суждений о невысоком качестве первых переводов конфессиональных текстов, написанных на КЯРР, стоит задача тщательного изучения *каждого* такого переводного текста.

В настоящей статье рассматриваются некоторые лексические особенности румынского перевода Евангелия от Матфея, впервые изданного в середине XVI в. в Сибиу (так наз. Петербургское Евангелие из ГПБ) (научное издание: *Evangheliarul slavo-român de la Sibiu. 1551–1553. București, 1971*). Данный текст – двуязычный, издан в виде 2-х столбцов (ок. 120 лл.). Это позволяет проводить систематические сопоставления славянского и румынского текстов, и тем самым – лучше понять *характер* языка этого перевода.

Основное внимание уделяется далее анализу *славянского* пласта



лексики румынского текста<sup>4</sup>. При этом, на наш взгляд, целесообразно специально рассмотреть (I) случаи *сохранения* в переводе славянской лексемы оригинала и (II) случаи *замены* в переводе славянской лексемы оригинала другим славизмом<sup>5</sup>.

1а. Точные лексические соответствия (не учитываются факты структурно-морфологической адаптации славизмов в румынском тексте): (прѣдь) вл<sup>а</sup>кзы ~ наннѣте вл<sup>а</sup>чь (28v; но и: ѿрхї ѣрене ~ вл<sup>а</sup>чїи - 80v); врача ~ врачь (23г); въ врѣмѣ ла време (98г; но и: прѣжде врѣмене ~ де врѣмѣ - 21г и др.; также: кѣа стражж ѿн каре време - 98г); въ вѣкы ~ ѿнъ вѣчїе (11г; вѣкѣ ~ вѣкѣлѣи - 93v); въ житнїицѣ ~ ѿн житнїица (45г); ѿ ѿзгна дѣхы ~ шѣ гони дѣхѣреле (19г; также 25v, 26v и др. но и: вѣсы ѿзгони́те ~ драчїи сокотѣць - 27г, ср. и: 38г); исповѣдаж ти сѣ ~ исповѣдѣсѣу ме цїе 34г); (оставльше) мрѣжѣ ~ парасирѣ мрѣжа (3г; также - мрѣжа); въ мѣкѣж (вѣчнѣж) ~ ѿн мѣнѣа дѣ вл<sup>а</sup>к (104г) (ср. и: мѣчнѣтелемѣ ~ [деде] мѣчнѣторилорѣ - 69г); мѣро ~ мирѣ (105г); наро́ди ~ наро<sup>а</sup> (25v; наро́ди ~ народѣ - 17v, 19v и др.); въ пагѣвѣ ~ ѿ пагѣва (15v); ѿ пло<sup>а</sup> ѿхѣ ~ де плодѣлѣ лорѣ (15v, 16г, 107v и др); не покаашж сѣ ~ нѣ се а покѣи́т (33v); прѣжде потопѣ ~ наинѣте де потопѣ (97v); правѣдника ~ правѣдник (31г); празникѣ ~ празникѣ (105г); (ѿрасѣте) прахѣ ~ церѣецѣ прахѣ (28г); проклѣти ~ проклѣци (103v); прѣповѣдати ~ ѿ прѣповѣди (2v но и: прѣповѣди́те прѣтокарнїцѣ - 27г, ср. и 31v и др.); прѣрокы ~ прѣрѣчѣ (5v, 15г, 16v и др.); многы прѣлѣстѣжъ ~ ... ворѣ прѣлѣсти (94г); по силѣ ~ кѣ силѣ (8v; но и: ѿ силѣ ~ шѣ пѣтере - 11г); скѣрѣети ~ ѿ скѣрѣи (108г); слава ~ слава (11г; но и: ѿ прослѣви ~ шѣ слѣвирѣ - 22v); слѣжадѣж ѣмѣ ~ слѣжирѣ лѣи (19г); въ снопы ~ ѿн снопѣ (44v); спасѣт сѣ ~ сѣ ва спаси (94v; но и: [можѣт] спѣти сѣ ~ [пѣте фи] ѿспѣси<sup>т</sup> - 72 ср. и: 95v); въ темнїицѣ ~ ѿн темнїица (49г; 68v; 103г); въ тѣннѣ ~ ѿнъ тѣннѣ (10г; 11v и др.); оѣченикѣ ~ оѣченичѣ (19v; 24v и др.); хѣла ~ хѣлѣце (38v; но и:

<sup>4</sup> Рассмотрению некоторых аспектов языка данного двуязычного Евангелия посвящен наш доклад "Славяно-румынские тексты конфессионального характера и их переводы на румынский язык (XVI-XVII вв.)", прочитанный на конференции "Роль библейских переводов в развитии литературных языков и культуры славян" (=Тезисы. М., 1999).

<sup>5</sup> Графика оригинала передается с некоторыми упрощениями (например, как  $\frac{1}{2}$  передается  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$ ), сняты некоторые ударения и под.

съ власѣмисаѣтъ ~ хѣлѣще - 22г; также: хѣлѣ ~ де фѣйма - 38v); ѣвн са (тако) ~ се ѡ ѣвнѣ (ѡша) (25v; но и: ѣвншж са ~ ѡрѣтъ са - 44v); ѣднного часа ~ оуны ча<sup>с</sup> (108v; но и: ѣ година... минж ~ шз ча<sup>с</sup> инкз трѣкѣ - 50г).

Іб. Примеры, демонстрирующие пути фонетико-морфологической и словообразовательной адаптации славизмов в КЯРР. Ср.: болаща ~ болавы (19v; 23г; 27г), но и: волна ~ волнава (103v; 104г и др.); (да бждеть) волм твоа ~ се фѣе волм та (10г; также 41г; 109г и др.); врага ~ вражмашь (9г; 30v и др.); възлюбенть ~ ва юбн (12v и др.); въздовницъ ~ въздовнорь (89v); седемь кошницъ ~ шапте кошѣре (56v); млтъ ~ мила (91г); ѣ неповинн (сжтъ) ~ шз виновѡца нѣ сжмтъ (35v); вама напасть ~ че во факъ напасте (9г; ср. въ напасть ~ инь ѣспита - 109г); ѡчство (свое) ~ ѡчина (са) (48г); плѣвелзы ~ плевнѡ (44v; но и: ѣмать плевѣлзы ~ ѡ ѡвннтъ семънца рѣ - там же); на погрѣвеніе ~ спре погрѣваніе (105v); пълнзы (сжтъ) ~ плинне (сжмтъ) (91v); свободнн ~ слобозн (64г); (ѣ ѡчи)... смѣжиша ~ (кѣ ѡкн) ворь мнжн (43г); въ солнло ~ инь солницѡ (106v); [ѡчницѡдете възнѣшнее] стъжленнн ~ ...стиклае (91г; но и: ѡлавастръ ~ инь стикла де ѣпсо<sup>с</sup> - 105г); съвѣтъ ~ свѣт (36v); ср. и: съвѣщѡша ~ свѣтѣнрѣ - 104v); ѣ ѡтсжднть ~ шз ва ѡсннн (40г); на трѣжнн ~ инь трѣжъ (33v; 89г и др.); трѣтъ ~ трестіе (32г) и др.

ІІ. Примеры использования в румынском переводе славизмов, отличных от тех, которые употреблены в славянском тексте. Ср.: варь ~ зѣдѣхъ (74v); въ вѣсь ~ ѣ ...тѣрг (27v) съ горзы ~ день дѣль (17v); дрѣгзы ваща ~ прѣтнннорь (9v; но и: дрѣгъ ~ соць - 33v); [млти хѡщж ѡ] не жѣртвѣ ~ [че ѣсте мила вон] нѣ принѡсе (35v); заповѣдати ~ порѣннн (се дѣ) (70г); не ѣскѡсн ~ нѣ ѣпнтн (1v; ср. и: ѣскѡситель ~ ѣспнтиторь - 1г); [вѣтрѡ<sup>м</sup>] колѣвелмж ~ ...кѣмь клатѣще възтѣл (32г); крото<sup>с</sup> ѣсма ~ вѣнѣ сжмтъ (35г); лѡнтж ~ пре ѡбразъ (112г; ср. и: лѡнтж ~ ѣнѣ... фѡлка - 8v); лнцѡ своа ~ ѡбразѣле лорь (11v, 83v и др.); но и: лнцѣ ~ пре фѡца (112г); мѣзда ваща ~ плаѣта воѣтра (5г, 9г, 10г и др.); въсѡжъ неджгъ ~ тотѣ волѣле (3v, 26г); но и: неджгзы ~ непотннцѡ (19г), а также: волѣзнь ~ волѣле (26v); печаль [вѣка сеѡго] ~ шз грнжѡ (43v; ср. и: не пѣцѣте са ~ нѣ во грнжнцѣ - 12v, 13v и др.); пнщж ~ де хрѡна (12v, 27v и др.); повнннѣнъ ~ вѣтннн (112г); мѣжъскъ поль ~ вѣратѣскъ чннъ (70г);

никтоже во приста́влѣтъ ~ нименне нѣ кърпѣце (23v); прока́жень ~ (оу́нь) губав (17v; 27г, 32г), но и: прока́за ~ стрикачѣне (17v); патѣль ~ кокошѣль (112v), но и: длекторь ~ кокошь (108г); ра́зь ~ слѣга (29г, 44v, 68г и др.), но и: слѣга ~ слѣга (79v, 111г); раста́чаеть ~ раснпеще (38v, 26г и др.; ср. и: Ѡвѣржени ~ рѣспиць - 26г); ѣгда сконча ~ кѣндѣ ѡвѣрши (17v и др., но и: конѣць ~ ѡвѣрши се - 94v); въ стѣгнахъ ~ инѣ оу́лице (10г); на сънмищнѣхъ (нхъ) ~ ин съвореле лорь (3v, 10г, 26г), ср. и: сънимъ вѣсь ~ шѣ съворь... (111г); но и: на сънмище (юу́денско) ~ инѣ снѣмъ (!) юденлор (36г); точнаѡ ~ таскъ (82г); вѣсе тѣло ~ то́тъ трѣпѣль (7г, 12г и др.; но и: пѣтъ ~ трѣпѣ - 59г, 70г, 109г и др.); ктѡ оу́даритъ ~ де те ва лови (8v, 110г и др.); юноша ~ воиникъ (71v, 72v); ѡзи ~ ранеле (19v); но и: ѡза ~ лънбѡре - 26г).

III. Отметим и достаточно многочисленные примеры, когда заимствованная лексема славянского текста заменяется в румынском переводе на славизм. Ср., например: прѣ́дь ѡлта́ремь ~ на́инъте прѣ́тола́лѣи (6v), также - ѡлта́ре ~ прѣ́толе (90г, 90v и др.), но и: прѣ́тола́лѣи ~ ...де ска́нѣль лѣи днѣзеѣ... (90v); ср. и: прѣ́стола (ѣсть вожин) ~ (къ ѡсте) прѣ́тола́(ль) лѣи днѣзеѣ (8г); къ горѣ́ ѣлесонстѣи ~ кътре дѣль маслѣнѣлѣи (77v); кле́врѣтъ ~ ѡ слѣ́га (68г), ср. и: кле́врѣтъ ~ со́цѣль (68г); талѣнъ ~ гривна (67v); фари́сен ~ дѣховничи лорь (6г), но и: фари́сен ~ фари́сен (39v) и др.

Изучение славянских лексических заимствований в румынском переводе Евангелия от Матфея (1551–1553 гг.) показывает, с одной стороны, что во многих случаях переводчик точно следовал оригиналу, с адаптацией заимствованных элементов в соответствии с правилами румынского языка (и это может служить подтверждением мнения об известной бедности лексического фонда румынского книжнописьменного идиома на начальном этапе его становления). С другой стороны, для языка румынского перевода Евангелия из Сибиу характерны многочисленные замены славянских лексем оригинала на иные лексемы того же происхождения, что в ряде случаев интерпретируется как устранение “книжных” (= “устаревших”) лексем и использование лексических единиц, свойственных, по-видимому, живому, народному румынскому языку того периода, и которые могут быть определены как несомненные южнославянские лексико-семантические диалектизмы (ср., например, рум. *грижа*, *дѣль*, *клатѣще*, *кокошь*,

кърпѣще, образ, обзрши, трѣп, тѣрг и др.). Это свидетельствует о творческом подходе первых переводчиков богослужебных книг со славянского на румынский; несомненно, прав Г. Михаилэ, который писал: "...даже если переводы далеки от совершенства, они демонстрируют постоянное стремление проникнуть в смысл текста, совершенствовать новый литературный язык – румынский" [Mihăilă 1967: 539].

## ЛИТЕРАТУРА

Демина 1993: Демина Е. И. Традиция и новые тенденции развития славянских литературных языков в преднациональный период // XI Межд. съезд славистов. Славянское языкознание. М., 1993.

Джамо 1963: Джамо Л. и др. Характерни черти на книжнославянския език – румънска редакция // Romanoslavica. București, 1963. Т. IX.

Толстой 1998: Толстой Н. И. Избранные труды. М., 1998. Т. 2.

Успенский 1983: Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка // IX Межд. съезд славистов. Славянское языкознание. М., 1983.

Djamo-Diaconița 1971: Djamo-Diaconița L. Limba documentelor slavoromâne emise în Țara Românească în sec. XIV–XV. București, 1971.

Djamo-Diaconița 1975: Djamo-Diaconița L. Slava veche și slavona românească. București, 1975.

Mihăilă 1967: Mihăilă Gh. Contribuții la studiul calcului lingvistic // Studii și cercetări lingvistice. București, 1967. Т. XVIII, 4.

Mihăilă 1973: Mihăilă Gh. Influența slavonă în vocabularul limbii române literare // Studii de lexicologie și istorie a lingvisticii românești. București, 1973.

Rosetti 1966: Rosetti A. Istoria limbii române. București, 1966. Т. IV–VI.

Л. В. КУРКИНА

### К этимологии русск. диал. *тѣмиться*

Это слово, широко представленное только в русских диалектах, не имеет сколько-нибудь убедительной этимологии. Фасмер [Фасмер IV: 58, 174] лишь констатирует, что гл. *тѣмиться* и *утѣмиться* не связаны с *тимение* 'болото'. В Дополнениях к словарю Фасмера приводится маловероятная этимология Махека, которая не может

быть принята во внимание. Согласно Махеку русск. *тѣмиться* 'насмехаться' родственно др.-ирл. *tib-* 'смеяться' с меной *b;т* [Machek 1948: 73].

Русский диалектизм не относится к активной части словаря, связи его затемнены. Даль приводит примеры из разных диалектов, отмечая при этом знаком вопроса значения, в точности и правильности которых он сомневается: ср. *тѣмиться* олон. 'биться у чего, колотиться, маяться', твер. 'нравиться' (?), 'плакать' (?), *тѣмиться* (?) новг. 'издеваться, насмехаться' (Что *тѣмишься* над ним?), 'мерещиться, чудиться', *тѣмись* (?) калуж. 'ешь, кушай, насыщайся' (*Тѣмись, що у мисе есть!*) [Даль<sup>3</sup> IV: 764]. Диалектные словари, опубликованные в недавнее время, вводят в научный обиход новые данные, подтверждающие наблюдения Даля и вместе с тем позволяющие более полно и точно охарактеризовать семантику глагола. На новгородской территории отмечены гл. *тѣмиться* в значении 'шалить, баловаться', 'волноваться', 'заниматься чем-л. несущественным; трудиться понапрасну; возиться с кем-л.', 'шуметь, издавать какие-л. звуки', *тѣмесѣться* 'мелькать' (ср. ...снег *тѣмесится* перед глазом), *прѣтѣмляться* 'вводить в заблуждение; притворяться', отглагольное имя *прѣтѣмленье* 'притворство', соотносительные с ними имена *тѣмик* 'тот, кто любит смешить, потешать', 'тот, кто любит притворяться', 'тихий, смиренный человек', а также *тѣмтѣок* 'замкнутый, необщительный человек' [НовгСл 11: 36, 37; 9: 30]. В диалектах находим этот глагол в сложении с приставками: ср. печор. *затѣмиться* 'заупрямиться' [СРНГ 11: 91], яросл. *затѣмерѣться* 'неожиданно заботиться чего-л., испугаться' [ЯрослСл, *дикарѣться-иштык*: 107], *потѣмѣться* 'пошалить, подурачиться, порезвиться' (новг.), 'начать бороться' (ленингр.), безл. 'показаться, почудиться; привидеться кому-л.', 'по суеверным представлениям – причинить вред, напустить порчу на кого-л. (о нечистой силе)' (новг.), безл. 'захотеться кому-л.' (свердл.), отсюда *потѣма* 'тот, кто забавляет, потешает кого-л.', *потѣмник* 'притворщик, насмешник' и др. [СРНГ 30: 281]. Вполне возможно, что гл. *прѣтѣмиться* 'притихнуть, выжидая' (волог., [СРНГ 32: 15]), *потѣмѣться* 'провести некоторое время, следя за кем-л., чем-л., понаблюдать, последить' (орл.) местоименного происхождения, ср. диал. *пѣтим* 'вслед за чем-л., потом' [ОрлСл. 10: 213], *прѣтѣм* 'о главном, важном месте, направлении и т. п.' [СРНГ 32: 14–15].

Широкий разброс значений служит показателем вторичных семантических процессов, пережитых глаголом. Представляется, что в семантической структуре глагола просматриваются три основных значения: 'заниматься чем-л. несущественным, маяться', 'мелькать, мерещиться', 'насмехаться'. Все приведенные значения несут в себе идею медленного, неопределенного, слабо выраженного процесса, протекающего незаметно и вяло. Неопределенное, нечетко выраженное состояние передает приведенное Далем отглагольное имя *tim̄bnye* в значении 'дремота, тупость, забвенье, бесчувственность, полубомрок'. В зависимости от языковой ситуации эта идея получает разное конкретное воплощение. Формируются значения, которые стали основой для последующих семантических преобразований в самых разных направлениях: 'маяться; возиться' > 'шалить, баловаться', 'мелькать, чудиться' > 'вводить в заблуждение' и 'притворяться' > 'насмехаться'.

При таком понимании исходной семантической базы, мотивирующей широкий спектр значений, только на первый взгляд далеко отстоящих друг от друга, вполне допустимо предположение о родстве гл. *tim̄mься* и его производных с продолжениями и.-е. *\*tī-*, *\*tāi-* 'таять' (хет. *tai-* 'красть', др.-инд. *tāyúṣ* 'вор', *stāyāti* 'является тайным'). В славянских языках к отражениям и.-е. основы относят гл. *\*tajati* и *\*tajiti*. Таяние, понимаемое как процесс незаметного, постепенного исчезновения, разрушения, становится основой для изменения в направлении 'скрывать, таить' > 'молчать' [Трубачев 1964: 100–105]. Тот же корень лежит в основе слав. *\*tějati*: ср. с.-х. диал. *ùс-тужати* 'изжарить на слабом, медленном огне', ст.-рус. *затѣяти* 'предпринять, затеять что-л.', диал. *утѣять* 'утвердить что-л.' и т. д. Ту же основу с расширителем *-n-* и чередованием корневого вокализма отражает гл. *\*tin'ati* (*i < ei*) 'тлеть': ср. словен. *tinjati*, болг. диал. *тынѣць* и др. [Куркина 1992: 152–153]. Индоевропейская основа *\*tī-/\*tāi-* образует разветвленное гнездо, в составе которого немало образований с разными расширителями: *-l-* (ср. греч. *τῖλος* 'жидкие испражнения'), *-n-* (ср. англос. *þinan* 'намочить') и т. д. [Pokorny I: 1053]. В этот ряд индоевропейских образований входит и слав. *\*tina*, для которого восстанавливается исходная форма *\*tīnā* или *\*tīm̄nā* [Фасмер IV: 58; Shevelov 1964: 323], а также слав. *\*time*, *-ene* 'грязь, влажное, болотистое место':

ср. др.-русск. *тимѣно*, *тимѣник* 'грязь, тина', *тимѣ* (?) 'грязь', польск. *tymiano* 'болото', н.-луж. *tym'e*, *-m'en'a* 'грязь. тина', чеш. *timeno*, *témenec*, *týmenec*, *temenec*, *tymenec* 'влажное, болотистое место в поле', с.-х. *Timenica*, словен. микрот. *Temenica*, сточная яма, 1250 *Temenicz*, 1338 *Themenitz*, 1400 *Temonicz* и др. [Фасмер IV: 58; Bezlaĵ 1961: 255]. Если оставить в стороне малоправдоподобные истолкования, основанные на сближении \**timę* с др.-инд. *stīmās* 'неподвижный', *stimitas*, *timitas* 'то же', *stīyā* 'стоячая вода' [Ильинский 1913: 22–23] или с греч. τέλμα, -ατος 'болото' [Machek 1948: 73], то наиболее вероятной оказывается этимология, сближающая \**timę*, *-ene*, производное с суф. \*-*mę*, со слав. \**tajati* < и.-е. \**tī-*, \**tāi-* 'таять' [Zarys 1974: 2, 126]. Зубатый был первым, кто предложил сближение *тимение* с *тимиться* [Zubatyĭ 1895: 26]. И эта идея не лишена оснований. Разные признаки положены в основу обозначений болот в славянских языках: ср. 'пропасть, бездна' (слав. \**lomъ*), 'омут, глубокое место' (русск. *омут*), 'грязь, ил, наносная почва' (слав. \**plavъ*) и т. д. [Куркина 1967: 131–136]. Слав. \**timę*, *-ene*, в отличие от других названий болот, обозначает влажную, мокрую землю, которая растекается, расплывается под ногами. Внимания заслуживают зафиксированные Геровым [Героу V: 336] гл. *тиммс-вамъ* и *тиммсувамъ* в значении 'сыреть, волгнуть, мокнуть', 'отмякнуть, отволгнуть' (ср. На св. Евтимия, 20-й *ѿнуариа*, земля-та ся *тиммсва*). Как показывает лексика, заболоченность вызвана действием подземных источников: ср. чеш. *timeno*, *témenec*, *týmenec*, *temenec*, *tymenec* 'небольшой ключ, источник', *temeniště*, *temeništ'ko* 'место, где болото, где бьет источник', отсюда *temeniti se* 'бить, об источнике' [Kott IV: 85, 53, 1146]. Вода из бьющего источника пропитывает землю, делает ее влажной, топкой.

В семантике приведенных индоевропейских образований так или иначе варьируется исходное значение 'зыбкое, неопределенное действие, лишенное четкой направленности, или процесс, неопределенный, расплывчатый, не имеющий четкой формы'. В рамках рассматриваемого гнезда с точки зрения семантики русск. *тимиться* ближе не упоминавшееся этимологами *тименье*, а гл. *затаять*. Для этих глаголов прослеживается преобразование исходной семантики в сторону значения 'заняться чем-л. несущественным', отсюда близкие производные значения: ср. рус. *затая* 'забава, развлечение' и

тимиться 'шалить, баловаться' и др. Русский диалектизм может быть отнесен к лексическим архаизмам, расширяющим состав продолжений индоевропейской основы с расширителем *-т*.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Ильинский 1913: *Ильинский Г.* Славянские этимологии. XL. Дцсл. тимѣно 'ил, грязь, болото' // Русский филологический вестник. Варшава, 1913. Т. LXIX.
- Куркина 1967: *Куркина Л. В.* Названия болот в славянских языках // Этимология 1967. М., 1969.
- Куркина 1992: *Куркина Л. В.* Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики. Люблина, 1992.
- Трубачев 1964: *Трубачев О. Н.* "Молчать" и "таять". О необходимости семасиологического словаря нового типа // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.
- Bezljaj 1961: *Bezljaj F.* Slovenska vodna imena. Sv. II. Ljubljana, 1961.
- Machek 1948: *Machek V.* Graeco-slavica // Indogermanische Forschungen. 1948. T. 72.
- Shevelov 1964: *Shevelov G. Y.* A Prehistory of Slavic. The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg, 1964.
- Zubaty 1895: *Zubaty J.* Ueber gewisse mit *st*-anlautende Wurzeln im Baltisch-Slavischen // Sitzungsberichte der kgl. Bömischen Gesellschaft der Wissenschaften. Klasse für Philosophie, Geschichte und Philologie. Prag, 1895.
- Zarys 1974: *Stawski F.* Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego // Słownik prasłowiański. Pod red. F. Stawskiego. Wrocław etc., 1974. T. I.

И. И. МАКЕЕВА

### Семантика "пространства" и "времени" у глаголов движения\*

Одним из направлений лексикологических исследований русского языка разных периодов является изучение тематических и лексико-семантических групп, среди которых внимание исследователей неизменно привлекают глаголы движения [Московская 1969: 61–68; Ибрагимова 1980: 55–72; Ибрагимова 1988; Васильев 1981 и др.].

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РФНФ, грант № 98-04-06268 "Исторический словарь современного русского языка".



Обычно эта группа рассматривается с точки зрения ее структуры в современном русском языке. Процессам семантического развития глаголов движения уделялось гораздо меньше внимания (см., например, [Кузнецова 1962: 159–171]). Между тем изучение семантических изменений, развития и формирования семантической структуры не отдельного слова, а целой группы лексем позволяет выявить общие процессы, что является перспективным не только для лексикологических исследований, но и для лексикографических трудов. Особенно актуальным такое направление работы оказывается для словаря особого типа – “Исторического словаря современного русского языка”, главной задачей которого является демонстрация эволюционных процессов в лексике, формирования семантической структуры слов со времени их фиксации в русской письменности (см. [О проекте 1997: 34–46]). В результате выявляются типологические направления в развитии семантической структуры слов определенной группы, а это, в свою очередь, находит отражение в структуре словарной статьи, подтверждает правомерность выделения тех или иных значений как самостоятельных.

Для глаголов движения (речь пойдет о глаголах перемещения) в истории русского языка определяющим в плане их семантического развития явились следующие моменты: обозначение движения/перемещения в разной среде (суша, вода, воздух), осуществляемого самостоятельно или несамостоятельно, с помощью транспортного средства (‘идти’, ‘ехать’, ‘плыть’); субъект движения, которым первоначально был человек/животное, а в процессе языкового развития становятся также предметы, определенные группы которых соответствовали тем или иным значениям (*ити* ‘плыть’ при субъектах судах, ‘падать’ при субъектах атмосферных осадках и др.); утрата смысла “движение” и обозначение глаголами действий или состояний (*течи* ‘пропускать воду’, *ходити* ‘следовать чему-л., соблюдать что-л.’ и др.); развитие вторичных переносных значений (*свратити* ‘повернув, изменить направление чьего-л. движения’ и ‘совратить, склонить к чему-л. предосудительному’ и др.).

Таким образом, развитие семантики глаголов перемещения шло в направлении сохранения исходного смысла “движение” и его утраты. При его сохранении глаголы начинали обозначать разные способы перемещения человека/животного (помимо ходьбы) и передвижение предметов (ранее всего – небесных светил и судов по ассоциации с движением человека). Это были наиболее ранние типологические

направления семантического развития глаголов перемещения, хотя они фиксируются у лексем в разное время.

При утрате смысла "движение" происходила, в частности, его замена семантикой "пространства", реализуемой как пространственная протяженность или местоположение, и семантикой "начала" и "конца", включая начало и конец какого-л. периода времени, бытия как биологического существования (*отити* 'умереть') и как существования предметов и явлений (*проити* 'прекратиться' о дожде). Условием появления таких типологических направлений развития было, по-видимому, выражение глаголом идеи движения как таковой и экспансия субъектов предметов. Не случайно первенство в их реализации принадлежало префиксальным производным именно от *ити* и *ходити*, которые достаточно рано стали выразителями этой идеи. Обозначение глаголами именно конкретных способов движения/перемещения в целом ограничивает развитие возможных вторичных значений, непосредственно уже не связанных с идеей движения. И, напротив, выражение глаголом идеи движения как таковой способствует вторичному обозначению словом конкретных способов перемещения.

Формирование семантики "времени" и "пространства" происходило на основе древнейшего значения 'идти' (субъект человек) через ступень 'двигаться, перемещаться' (субъект предмет). Уже отсюда 'простирается, пролегать' и 'располагаться, находиться' по ассоциации движения и пространства и в связи с этим протяженности и местоположения, 'наступать, надвигаться', 'длиться, продолжаться' и 'проходить, миновать' на основе связи движения со временем.

Аналогичные смыслы "начало", "конец", "время", "пространство" развивались не только у глаголов движения. Поэтому в процессе языкового развития эти направления оказались более слабым и менее устойчивым звеном, чем способы передвижения человека и перемещения предметов, почти не обозначаемые другими группами глаголов.

В истории русского языка смысл "пространство" фиксируется у нескольких приставочных глаголов движения (*гратьти, ити, минути, миновати, течи*) и у ряда префиксальных производных (*выити, изити, обити, отити, понти, принти, проити, разити; овходити, походити, приходити, проходити; поворотити, обтечи* и др.). Особое место занимают глагол вести и его префиксальные производные и глагол *поворотити*.

Бесприставочные глаголы обозначали линейную протяженность,

направленность предмета. Соответственно субъектами могли быть предметы, характеризующиеся протяженностью (улица, дорога, река). Ведущую роль играл глагол *ити*, хотя значение 'простира́ться, пролега́ть' у него фиксируется относительно поздно – лишь в XVI в.: *в горахъ идуть мѣдныя руды жилы* (Акты, собранные Археографическою экспедициею, 1643 г., 3, 471); *а улица, что съ поскотинны идетъ винзъ отъ рѣки по горки* (Акты Холмогорской и Устюжской епархии, 1536–1537 гг., 32 – РИБ, т. 14); *а тѣмъ обѣмъ поженкамъ концы отъ виски идутъ къ Мѣзени и до крѣжа* (Грамоты Кеврольского и Мезенского уезда, 1670 г., 625 – СГКЭ, т. 2).

У остальных глаголов пространственная семантика фиксировалась эпизодически.

У глагола *грати* фиксация значения 'простира́ться, пролега́ть' является одной из ранних, но оно представлено единственным примером: *соуть (ж) корени трѣе, ѿ коегождо ичню в мозъгы градѣт* (Толковая Палей, XIII в., список 1477 г., 33 об.).

У глагола *течи* наряду со значением 'идти; быстро идти, бежать' древнейшим было значение 'течь, литься, струиться', по-видимому, унаследованное из праславянского языка и впоследствии ставшее у *течь* основным. В истории русского языка глагол обозначал движение жидкости вообще (*вода (ж) текѹща стане(т)* [Иис.Нав. 3, 13, Геннадиевская Библия 1499 г.]) и ее перемещение в определенном направлении (*вода си текѹща въ галилею на вѣстокъ* [Иезек. 47, 8 – там же]). Если субъектом является река, смысл "движение" совмещается с пространственной протяженностью; глагол *течи* (а также его префиксальные производные) мог значить 'течь/протекать в каком-л. направлении, по какой-л. территории': *А отъ усть реки Селижаровки Волга потекла под Ржевѹ; а под городомъ Углечемъ Волга течетъ на зимненъ возтокъ* (К. Н. Сербина. Книга Большому Чертежу, XVII в., 125, 129).

Уже за пределами старорусского периода, в XVIII в., у *течи* фиксируется значение 'тянуться, простира́ться': *линійя... течеть* (Приемы циркуля и линейки, 1709 г., 18). Его появление могло быть обусловлено влиянием глагола *ити/идти*. Однако оно могло возникнуть и без постороннего воздействия в русле типологического развития глаголов движения в период становления современной семантической структуры слов, который часто приходится именно на XVIII в.

В исследованных древне- и старорусских памятниках

письменности у глаголов **миноути** и **миновати** пространственная семантика также была представлена единственным примером. Поскольку оба слова исходно обозначали движение мимо чего-либо, минуя что-либо, в пространственных представлениях компонент “мимо, оставив в стороне или позади” реализуется как некий рубеж. Глаголы приобретают значение ‘протянуться далее (или ниже) чего-л.’: **конници [по вар. XVI в.] же на деснѣи странѣ носить саблю длъгоу... щитъ же длъгъ, како минеть ребра коневн** (Иосиф Флавий, История иудейской войны, XII в., список XV в., 412в); **А река Десна вытекла из Дороговѹжа, верховьем миновала с рекою с Угрою** (К. Н. Сербина. Книга Большому Чертежу, XVII в., 101; в другом списке XVII в. **везалась** с глоссой на полях: **сошлаась**).

Префиксальные глаголы благодаря наличию приставок передают не только линейную протяженность, но и местоположение предметов и особенности местоположения. В основном среди этих глаголов производные от **ити** и **ходити**: **обонти-обходити**, **понти-походити**, **принти-приходити**, **пронти-проходити**, а также ряд непарных глаголов: **вынти**, **изити**, **отонти**, **разити**.

Местоположение как таковое и протяженность в каком-либо направлении обозначали глаголы с префиксами **по-** и **про-** (‘простереться, протянуться/простирается, пролегать’, ‘располагаться, находиться где-л.’). Особенности местоположения передают префиксальные производные с приставками **об-**, **обо-**, **оби-** (‘располагаться/расположиться вокруг, обступать/обступить’), **при-** (‘располагаться/расположиться рядом с чем-л., прилегать’), **вы-** (‘выступить за какой-л. предел’), **раз-** (‘расположиться между чем-л., разделяя’): **А по сторонам того рѹ обонти нельзя: пришли леса и болота** (К. Н. Сербина. Книга Большому Чертежу, XVII в., 64); **А от Халкидона до Костянтинополя города промеж ими прошло гирло морское из Белого в Черное море** (там же, 96); **а с востокѹ, подле Улкѹ горѹ, приходили воды, истоки нетекѹщие и озера** (там же, 92); **которыа рѣкы вниходать ю и прохода(т) сквозѣ ню** (Житие Св. Стефана, епископа Пермского, написанное Епифанием Премудрым, XV в., список XV–XVI вв., 9).

Семантика “пространства” у глаголов движения фиксируется в памятниках русской письменности в списках не ранее XV в., в основном же в XVI–XVII вв. В предшествующий период, уже с XIII в., местоположение предметов обозначал глагол **лежати**, с

XIV в. – его префиксальный производный **прилежати**, в старорусский период – **прилечи**, **облежати** и др.: **пѣше што же лежить ѡ(т) воухра воше мнѣ** (Грамота 1378 г.) [СДР IV: 396]; **А с полуденные стороны, против Ташкүна города прилегла к Сыру реке гора** (К. Н. Сербина. Книга Большому Чертежу, XVII в., 95). Глагол **лежати** и его префиксальный производный **належати** обозначали также линейную протяженность, направленность: **а промеж их верховен, через Пүзацкон лес, лежит дорога ис Крыму в Русь** (там же, 103). В XVII в. та же семантика фиксируется у глагола **простирагиса**.

Таким образом, к концу старорусского периода аналогичная семантика “пространства” могла быть выражена несколькими глаголами, принадлежавшими разным группам. Избыточная синонимия в процессе языкового развития была устранена рядом способов, в основном за счет глаголов движения. Только в семантике нескольких лексем сохранились названные значения (*идти, пойти, пройти, проходить*; ср. *лежать, пролечь, пролегать*). При этом у *идти* и *лежать* в современном русском языке наблюдается тенденция к дифференциации субъектов: то, что имеет линейную протяженность (дорога, улица и под.), выступает в качестве субъекта при *идти*; то, что имеет площадь, протяженность по длине и ширине (поле, лес и др.) – при *лежать*. Соответственно *идти* обычно передает направленность, а *лежать* – местоположение, хотя нередко встречается и обратное. У части глаголов в литературном языке пространственная семантика была утрачена (*прийти, отойти, приходиться, походить, грядти, течь, миновать, минуть*). Глаголы *изити* и *разити* были утрачены сами.

Новый этап развития пространственной семантики у глаголов движения приходится уже на XIX–XX вв., когда соответствующие значения как эмоционально-экспрессивные фиксируются у *бежать, ползти* (о дороге и под.), как обозначающие различные особенности линейной протяженности – у *подниматься, взбираться, опускаться, спускаться* и др. (о дороге, улице и под.).

У глагола **поворотити** значение ‘изменить направление своей протяженности’ фиксируется с XVII в.: **А река Десна... не дошед 20 верст до Рословля, и поворотила на восток на зимнен, текла 80 верст, и поворотила на полдень** (К. Н. Сербина. Книга Большому Чертежу, XVII в., 101). Первоначально субъектом, как и в приведенных выше примерах, была река, благодаря чему сочеталась исходная идея движения и вторичная идея протяженности, направления в

пространстве. Субъект типа тропа, дорога, при котором идея движения утрачивается, фиксируется уже за пределами старорусского периода. У другого однокоренного префиксального глагола **сѣворотити**, а также у **сѣверноути**, **поверноути** она, как кажется, в старорусском языке еще не была засвидетельствована.

Особая пространственная семантика развивается у глаголов **вести** / **водити** и некоторых префиксальных производных (**овести**, **повести**, **привести**, **провести** и др.). Субъектом в этом случае остается человек; линейной протяженностью обладает объект. В результате у глаголов развивается значение 'сооружать, прокладывать, проводить/соорудить, проложить, провести в каком-л. направлении что-л., обладающее протяженностью'. У **вести** это значение фиксируется с XIII в., и объектом первоначально являлась опять-таки вода, когда смысл "движение" совмещался с семантикой "пространства": **Аще источникъ. ѡ(т) негоже нѣкто ведеъ водоу...** (Кормчая Рязанская 1284 г., 319а) [СДР I: 400].

Мена субъектно-объектных отношений при выражении пространственной семантики (*дорога вела, привела*) имела место, по-видимому, уже за пределами старорусского периода, в XVIII в. [Сл XVIII в.: 70].

Формирование другого типологического направления – семантики "времени" – проходило таким же образом и было представлено в структуре приставочных и префиксальных глаголов. В целом у глаголов движения/перемещения оно фиксируется раньше, чем пространственная семантика, – уже в XI в.

Производные префиксальные глаголы, в основном образованные от *ити* и *ходить*, в зависимости от значения приставки передавали начало/приближение или конец какого-либо временного периода и значили 'наступить, настать/наступать, наставать' (**донти**, **нанти**, **принти**, **надъходити** (видимо, заимствование из польского), **приходити**, **настоупити**, **пристоупити**) и 'истечь, окончиться/проходить, миновать' (**вынти**, **донти**, **изити**, **отонти**, **пренти**, **принти**, **преходити**, **приходити**, **отъстоупити**).

Бесприставочные глаголы в соответствии с характером движения, передаваемого древнейшим значением, обозначали начало/приближение, конец или продолжение какого-либо отрезка времени:

– 'наступать, наставать' фиксируется у глаголов **ити**, **грати** (ср. сохранившееся субстантивированное причастие *грядущее* 'будущее', 'то, что будет'): **и еще идоуть оубо лѣта. в наже не бѣдетъ ни оратвы, ни жатвы** (Палаея Толковая, XIII в., список 1406 г., 90а);

грядеть день той (Великие Минеи Чети, Октябрь 4-18, 1449, список XVI в.);

- 'истечь, окончиться/проходить, миновать' фиксируется у глаголов *миноути, миноутиса, миновати, миноватиса, течи*: *еще и много время минеть* (Изборник Святослава 1076 г., 229 об.); *съпиши лѣта миноюють* (Златоструй, XII в., 65; *мимо текѹ(т)* вар. XV-XVI вв.); *а время твое течеть. аки рѣчная быстрость* (Слова и поучения против язычников, XIII в., список XVI в., 14);

- 'длиться, продолжаться' фиксируется у *ити, течи*: *дни идуть студеные* (Шведские дела, 1569 г., 146); *въ нѣѣ текѹща лѣта* (Симеона Полоцкого беседы против протестантства, XVII в., список XVIII в., 5).

В дальнейшем в процессе языкового развития семантика "времени" у части глаголов была утрачена, а у многих сохранилась (*идти, минуть, миновать, минутся, миноваться, выйти, прийти, грядти, течь* (у причастия *текущий*), *проходить, приходить, наступить*). Ее сохранению не препятствовало наличие аналогичной семантики у других глаголов, не входивших в группу движения (*надѣстояти, належати, наставати, настати, настоати, коньчитиса, коньчеватиса*). Причиной такой устойчивости была, во-первых, сильная ассоциативная связь движения со временем; во-вторых, выдвигание временной семантики на первый план, как это было у глаголов *минуть* и *миновать*; в-третьих, невыраженность значений, в частности, 'длиться, продолжаться' другими лексемами.

За пределами старорусского периода развитие семантики "времени" продолжилось. Вновь возникавшие значения носили эмоционально-экспрессивный характер (*время бежит, летит, несется, мчится* и др.). При этом новый этап в развитии данного направления начинается раньше, чем в семантике "пространства". У глагола *бежать*, например, соответствующее значение фиксируется уже в XVIII в.

У глагола *провести* появившееся в современном русском языке значение 'пробыть какое-л. время где-л. или прожить каким-л. образом' представляет отличную от других значений семантическую линию, когда субъектом остается человек, а период времени выступает как объект.

Семантика "времени" была характерна не только для русских глаголов движения. Она фиксируется, например, и у префиксальных производных от греч. глагола *ἔρχομαι* 'идти' (*ἐπέρχομαι* 'наступать', *ἐξέρχομαι* и *παρέρχομαι* 'миновать, проходить' и др.) и в этом смысле оказывается языковой универсалией.

Таким образом, развитие семантики "времени" и семантики "пространства" у русских глаголов движения оказывается очень схожим. Начало формирования первой приходится на древнерусский период, второй – чуть позднее. В старорусском языке оба смысла уже включены в структуру многих глаголов, преимущественно префиксальных производных от *ити* и *ходити*. Новый этап частично приходится на XVIII в., но в основном – уже на современный период русского языка; вновь появлявшиеся значения носят эмоционально-экспрессивный характер.

В современном русском языке представлен и обратный процесс – развитие смысла "движение" на основе пространственных представлений (как у глагола *тянуться*). Уже по ассоциации движения со временем формируется временная семантика.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Васильев 1981: *Васильев Л. М.* Семантика русского глагола. М., 1981.
- Ибрагимова 1980: *Ибрагимова В. Л.* Лексико-семантический класс глаголов перемещения в русском языке // Исследования по семантике. Уфа, 1980.
- Ибрагимова 1988: *Ибрагимова В. Л.* Семантика русского глагола. Лексика движения. Уфа, 1988.
- Кузнецова 1962: *Кузнецова А. И.* Из истории семантического развития глаголов движения русского языка // Этимологические исследования по русскому языку. М., 1962. Вып. 2.
- Московская 1969: *Московская Э. А.* Структура лексико-семантической группы глаголов перемещения // Вопросы лексикологии. Ученые записки Сверд. гос. пед. института. Свердловск, 1969. Вып. 97.
- О проекте 1997: *Бабаева Е. Э., Журавлев А. Ф., Макеева И. И.* О проекте "Исторического словаря современного русского языка" // Вопросы языкознания. 1997, № 2.

К. А. МАКСИМОВИЧ

#### Славянизмы современного русского языка и кирилло-мефодиевское наследие

В научных работах последнего времени все чаще можно встретить утверждение, что современный русский язык является прямым преемником языка кирилло-мефодиевских переводов. Приведем мнение одного из признанных знатоков вопроса: "наш современный



нормированный язык, пригодный для выражения и формирования высочайшей духовной культуры, – это подлинный и прямой наследник Кирилло-Мефодиевского языка” [Верещагин 1997: 3]<sup>1</sup>. Автором этой идеи признается Н. С. Трубецкой [Верещагин 1997: 311]. В последние годы аналогичных взглядов придерживался и Г. А. Хабургаев<sup>2</sup>.

При всей очевидной значимости подобных утверждений, пока отсутствует их обоснование на конкретном материале. Прежде чем такое обоснование будет предпринято, нам хотелось бы указать на некоторые методологические проблемы, возникающие при постановке и решении этой задачи.

Прежде всего, как кажется, необходимо ясное представление о том, что следует считать “кирилло-мефодиевским языком”<sup>3</sup>. В последнее время обозначилась тенденция возводить к персональному творчеству первоучителей любые языковые явления, отмеченные в древнейших славянских переводах. При этом почему-то не всегда учитывают тот хорошо известный факт, что кирилло-мефодиевские переводы делались не на искусственный, специально придуманный язык, а на живой диалект общеславянского языка, на котором говорили славяне в окрестностях Фессалоник. Уже в древнейший письменный период язык первых переводов был в незначительной степени обогащен элементами других славянских диалектов<sup>4</sup>. Известны и бесспорно искусственные образования (прежде всего в лексике), которые не могли существовать в докирилловское время, поскольку обнаруживают очевидное влияние литературного греческого языка и византийской культурной парадигмы. Однако нужно прямо сказать, что процент этих искусственных образований в реконструируемых текстах древнейших (кирилло-мефодиевских) переводов весьма невелик, поскольку лексико-семантические и

---

<sup>1</sup> Ср. также: “язык Кирилла и Мефодия впитан современным русским литературным языком” [Верещагин 1996: 319].

<sup>2</sup> “Особенно велико церковнославянское наследие в синтаксисе и лексике [современного русского литературного языка – К.М.], где до сих пор используются синтаксические конструкции и создаются новые слова с церковнославянскими корнями и аффиксами по словообразовательным моделям, предложенным славянскими первоучителями” [Хабургаев 1994: 8].

<sup>3</sup> В написании прилагательного “кирилло-мефодиевский” придерживаемся традиционных строчных букв.

<sup>4</sup> Назовем, например, некоторое количество моравизмов (мораво-паннонизмов), открытых в языке древнейших памятников А. И. Соболевским, Й. Вашицей и О. Н. Трубачевым.

грамматические ресурсы славянского языка (точнее, диалекта Солуни) были в общем и целом достаточны для передачи как буквы, так и смысла Св. Писания. Таким образом, говоря о “кирилло-мефодиевском языке”, следует подразумевать живой позднепраславянский (южнославянский) диалект, частично *приспособленный* первоучителями для адекватного перевода византийских культурных текстов<sup>5</sup>. И поскольку говорить о *генетическом* преемстве русского языка по отношению к южнославянскому диалекту Фессалоники, очевидно, не имеет смысла, то следует вести речь только о преемстве *книжных элементов языковой нормы*, формирование которой началось одновременно с первыми переводами. При этом важнейшее значение имеют те элементы кирилло-мефодиевского языка, которые возникли как результат переводческой деятельности первоучителей. Дело только за тем, чтобы вычленил эти элементы из общей массы дошедших до нас текстов.

При решении этой задачи необходимо следовать определенным принципам. Прежде всего нельзя объявлять “кирилло-мефодиевскими” слова, выражения и синтаксические конструкции, если можно полагать, что они существовали в живых славянских диалектах дописьменной эпохи<sup>6</sup>. Звание “кирилло-мефодиевских” могут носить лишь те языковые элементы, которые восходят к *личному* творчеству первоучителей и гарантированно отсутствовали в позднепраславянском языке. Таких элементов с уверенностью можно выделить пока совсем немного.

Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере. По нашим подсчетам, из примерно 130 основных юридических терминов Краткой Редакции “Закона судного людем” (созданной, как мы

---

<sup>5</sup> В целом удачной представляется формулировка А. И. Горшкова, который видел роль славянских первоучителей в “преобразовании разговорного языка в литературный” [Горшков 1987: 27].

<sup>6</sup> Ср. в этой связи интересные рассуждения Р. Марти о синтаксических особенностях Анонимной (Мефодиевой?) гомилии Клоцова сборника. В полемике с А. Вайяном, который считал “эллинизмами” употребление асс. *pegationis* и *gen. possessivus*, Марти утверждает, что аккузатив имел в кирилло-мефодиевском языке (*im Urkirchenslavischen*) более широкое употребление, чем в последующих старославянских памятниках. В отношении дат. п., который весьма частотен в Анонимной гомилии, Марти считает *dat. comparationis*, *dat. possessivus* и *dat. commodi* языковыми архаизмами, функции которых впоследствии взял на себя генитив. Частотность датива при редкости генитива в Анонимной гомилии Марти считает чертой архаичного славянского языка [Martí 1988: 617].

полагаем, Мефодием)<sup>7</sup> в современную русскую юридическую терминологию (в близком значении) перешли 10 (т. е. примерно 12%): *власть, война, вражда, возвратить, должник, закон, красть, оружие, повинну быть, покуситься, присяга, судья, свидетель, свидетельствовать, убить, цена*. Однако это не значит, что 12% мефодиевской терминологии усвоено современным русским языком. Дело в том, что лишь один из этих терминов – *свидетель* (с его производным *свидетельствовать*, ц.-слав. *свьѣдѣтель*) может считаться изобретением Мефодия (возможно, даже Кирилла)<sup>8</sup>. Все остальные лексемы восходят к праславянскому языковому состоянию и не могут считаться “мефодиевскими”. Из этого следует, что персональный вклад Мефодия в сложение современной русской терминологии права весьма невелик. Примерно таким же способом (т. е. статистически) следует оценивать вклад солунских братьев и в лексику современного литературного языка в целом.

Необходимо, далее, отличать кирилло-мефодиевские элементы от “преславских” вариантов, которые относятся к более позднему периоду и никак не связаны с деятельностью первоучителей. Необходимость научной корректности при решении этого вопроса требует кропотливой работы по реконструкции первоначального вида кирилло-мефодиевских переводов.

Так, отдельные слова и словосочетания, вошедшие в фонд современного русского языка или ставшие (иногда после некоторой адаптации) фразеологизмами, лишь по видимости восходят к деятельности славянских первоучителей, являясь в действительности поздними переделками кирилло-мефодиевской традиции.

Рассмотрим столь же известное, сколь и загадочное выражение *хлеб насущный* (Мт 6,11 и Л 11,3)<sup>9</sup>. Это выражение, на наш взгляд, нельзя считать кирилло-мефодиевским, поскольку примененный здесь для передачи греч. *ἄρτος ἐπιούσιος* ‘хлеб на завтрашний день’ буквалистский перевод страдает неясностью. Дело в том, что в Господней молитве (изначально рассчитанной, заметим, на простых и бедных людей) выражена просьба подать уже *сегодня* хлеб

<sup>7</sup> Критическое издание памятника см. в работе [Vašica 1971].

<sup>8</sup> В живом языке был распространен другой термин для обозначения свидетеля – *послouxъ*, который также представлен в “Законе судном”.

<sup>9</sup> О его судьбе в современном русском языке см. работу [Копорская 1988: 116–117].

следующего дня (т. е. хлеб, который будет съеден завтра)<sup>10</sup>. Вариант Л 11,3: “подавать *каждый день* (τὸ καθ’ ἡμέραν) хлеб следующего дня” – стал, по-видимому, основанием для перевода греч. ἐπιούσιος посредством лат. quotidianus ‘повседневный’. Именно поэтому в Вулгате стоит quotidianus в Л 11,3 и совсем другое слово – supersubstantialis ‘сверхсущностный’ – в Мт 6,11. Подобная вариативность свидетельствует о том, что уже создатель Вулгаты Св. Иероним Стридонский испытывал затруднения в понимании этого места.

Термин ἐπιούσιος ‘относящийся к завтрашнему дню’ произведен от греч. ἡ ἐπιούσα (ἡμέρα) ‘наступающий (завтрашний) день’, которое, в свою очередь представляет собой прич. наст. вр. ж. р. от глагола ἐπιέναι: ἐπ-ιούσα, т. е. ‘наступающая’ (слово ‘день’ – ἡμέρα – в греческом языке женского рода). Этимология А. Дебруннера (ἐπὶ τὴν οὐρανὸν [sc. ἡμέραν] ‘на сегодняшний день’) [Debrunner 1912], принятая П. Шантреном [Chantraine: 359], М. Фасмером [Фасмер III: 48] и, вероятно, И. Христовой [Христова 1991: 42–43], не выглядит убедительной как по содержательным<sup>11</sup>, так и по формальным (фонетическим) причинам [ThWNT II: 590, Anm. 26; 591]. По тем же причинам невозможно принять и восходящую к Оригену “теологическую” этимологию (ὁ ἐπὶ τὴν οὐσίαν ἄρτος ‘хлеб для сущности’) [Cibulka 1956: 407–408], равно как и сближение термина ἐπουσί[ων] из фаюмского папируса с термином οὐσία в значении ‘имущество’ [Христова 1991: 44]. Поскольку правила греческой фонетики исключают сохранение йоты в приставке ἐπι- перед последующим корневым гласным, то производное от οὐσία (или, по Дебруннеру, οὔσα) должно было бы выглядеть как ἐπ-ούσιος, а не ἐπι-ούσιος (ср. ἐπουράνιος ‘небесный’). Сохранение йоты в ἐπιούσιος неопровержимо свидетельствует о ее принадлежности корню – в данном случае она собственно и есть корень -i- (‘ид-’). Следовательно, корректное членение данного слова на морфемы должно выглядеть так: ἐπ(i)-i-ούσ-ιος ‘на-ступа-ющ-(его дня)’, где у приставки ἐπι- перед корневым -i- закономерно утрачивается йота. Прозрачное по смыслу и безупречное с точки зрения точности перевода чтение *хлѣвъ наставъшааго дъне* ‘хлеб следующего дня’, зафиксированное в ряде славянских евангелий, и следует считать

<sup>10</sup> Остается неясным скепсис П. Шантрена по поводу этого толкования: L'interpretation... ne donne pas une signification satisfaisante [Chantraine: 359].

<sup>11</sup> “Хлеб наш на сегодняшний день дай нам сегодня”(?).

исконным, кирилло-мефодиевским (о том, что прич. прош. вр. **НАСТАВЪ** означало не 'наставший, (т. е. сѣодняшний)', а именно 'следующий', см. [SJS II: 318]<sup>12</sup>. Вероятно в преславский период, с характерной для него правкой кирилло-мефодиевских текстов по греческим оригиналам и регулярным калькированием греческих терминов, в результате вторичного (этимологически необоснованного) переосмысления (ἐπι- 'на' + οὐσία 'сущность'), возникла "теологизирующая" псевдокалька **НАСЖШТЪНЪ** 'относящийся к сущности', которая и перешла в дальнейшую традицию. Такая "теологизация" термина ἐπιούσιος (сближение его с этимологически чуждым термином οὐσία 'сущность') отмечена уже у греческих отцов Церкви, начиная с Оригена. Это не отменяет, однако, того обстоятельства, что для славян этот термин был (и остается) весьма темным. Таким образом, перевод **НАСЖШТЪНЪ**, как этимологически ошибочный (псевдокалька) и отягощенный метафизическими коннотациями, противоречит миссионерской установке кирилло-мефодиевских переводов на доступность и общепонятность<sup>13</sup> – он, однако, полностью ложится в традицию "теологизирующих" и буквалистских переводов преславского периода<sup>14</sup>. Таким образом, как выражение *хлеб насущный*, так и само слово *насущный* восходит не к кирилло-мефодиевскому, а к болгаро-преславскому наследию в современном русском языке.

---

<sup>12</sup> Характерно, что вариант **наставѣшааго дѣне** представлен в списках, лучше всего сохранивших "древний текст" – в Маринском кодексе (Мт 6,11), евангелии Мирослава (XII в.), Карпинском евангелии (XIII–XIV вв.) и некоторых других, ср. [Евангелие от Иоанна 1998: 8–9; Люсен 1995: 97]. Варианты Зографского евангелия **настойн** (Мт 6,11) и **надьневьнъ** (Л 11,3) [Люсен 1995: 97] отражают либо позднейшую "этимологизирующую" правку по греческому оригиналу (**настойн**) либо интерпретационный перевод в соответствии с общим смыслом пассажа Л 11,3 (**надьневьнъ**). Чтение **наставѣшааго дѣне** справедливо считал кирилло-мефодиевским и Й. Вайс [Vajs 1935: 16].

<sup>13</sup> О ясности как центральном переводческом принципе славянских первоучителей см. работы [Berneker 1913: 403; Гавранек 1967: 341, 343; Иванова-Мирчева 1977: 37; Рождественская 1987: 40, 45; Верещагин 1997: 95–97, 102].

<sup>14</sup> Примеры буквализма преславской школы в переводах и в исправлении кирилло-мефодиевских книг по греческим оригиналам см. в работах [Иванова-Мирчева 1977: 43–44, 47–48; Максимович 1991: 128; Евангелие от Иоанна 1998: 24, 29]. В кирилло-мефодиевском происхождении слова **насущный** сомневался уже В. Ягич [Jačić 1913: 367]. В последней книге Е. М. Верещагина этот вопрос оставлен открытым [Верещагин 1997: 48–49]. К сожалению, не проясняют дела и новейшие словари крылатых слов, ср. [Николаюк 1998: 416–419].

Как показал Е. М. Верещагин, не является кирилло-мефодиевским и известное выражение *свет невечерний* (φῶς ἀνέσπερον): в переводах славянских первоучителей должно было стоять **свѣтъ немръчѣ** (вар. **немрачьнѣ**) [Верещагин 1997: 43].

Фразеологический славянизм *врачу, исцелися сам!* (Л 4,23) также не может считаться кирилло-мефодиевским – хотя бы потому, что солунские братья называли врача **ваини** [Евангелие от Иоанна 1998: 23]. Этот ряд можно при желании легко продолжить.

Более сложной была судьба терминов, сохранившихся в языке до наших дней, однако претерпевших столь сильные семантические изменения, что их уже едва ли можно в полной мере отнести к кирилло-мефодиевскому наследию.

Например, выражение *нищие духом* может формально рассматриваться как кирилло-мефодиевский элемент современного языка, поскольку восходит непосредственно к деятельности первоучителей. Однако опрос носителей русского литературного языка показал, что истолкование этого выражения вызывает трудности. Предлагались толкования в диапазоне от “безнравственные” до “скромные, смиренные”. Напомним, что в Мт 5,3 это часть одной из заповедей блаженства: “**Блаженни ништни доухомъ, ꙗко тѣхъ естъ цѣсарьствие небесное**”. Смысл этой фразы можно передать следующим образом: “Блаженны те, кто беден благодаря духу, ибо им принадлежит царство небесное”<sup>15</sup>. В последующей традиции первая часть этого выражения претерпела семантическую аберрацию, полностью утратив свой исконный смысл: твор. п. *духом*, который у первоучителей (как и в оригинале) имел каузальный смысл ‘благодаря духу’, в современном языке имеет тенденцию восприниматься в реляционном значении ‘в отношении духа’ (ср. выражение *слабый телом*). Греческий оригинал Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι... не дает оснований воспринимать форму дат. п. τῷ πνεύματι в реляционном значении (‘в отношении духа’), поскольку эту функцию выполнял в греческом языке вин. п. (в нашем случае в оригинале должно было стоять οἱ πτωχοὶ τὸ πνεῦμα). Дат. п. может здесь интерпретироваться только в

---

<sup>15</sup> Ср. [ThWNT VI: 904, Апт. 171]. Заметим, что эквивалент “в духе”, предлагаемый для этого места, например, во французском переводе Нового Завета (en esprit), здесь неприемлем – понятие ‘в духе’ выражалось в греческом языке предложным сочетанием ἐν (τῷ) πνεύματι (ср. Мт 12,28; 22,43; Мк 1,8; Л 4,1 и др.), в то время как в нашем случае мы имеем дело с беспредложно-каузальным τῷ πνεύματι.

каузально-инструментальном значении – ‘благодаря духу’<sup>16</sup>. Правильность такой интерпретации подтверждает и параллельное место из Л 6,20, где идея бедности выражена совершенно эксплицитно: “Блаженны нищие, поскольку ваше есть царствие Божие” (Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ). Нельзя сбрасывать со счетов и наблюдение Э. Бернекера, который указал на следующую закономерность: греч. πτωχός в субстантивном значении (‘бедняк’) всегда переводится в евангелиях термином **ништин**, тогда как в адъективном значении (‘нищий’) – только как **оубогъ** [Berneker 1912: 407–408]. Таким образом, подлинный смысл сочетания **ништин доухомъ** можно передать как ‘бедняки ради духа’ (или, если угодно, ‘бедняки ради Христа’).

Евангельская заповедь добровольного отказа от богатства ради высших, духовных благ со временем приобрела изначально несвойственные ей коннотации “духовной нищеты”, смирения, покорности и т. п.<sup>17</sup>. Это заблуждение не изжито до сих пор. Не способствует прояснению вопроса и дословный повтор этого выражения в Синодальной Библии: “Блаженны нищие духом”. В Старославянском словаре это выражение также оставлено без комментариев [СС: 200]. В Словаре русского языка XI–XVII вв. сочетание **ништин доухомъ** дипломатично истолковано как “*выражение из Матф. V, 3, имеющее разные богословские толкования*” [СлРЯ XI–XVII 11: 392].

Надеемся, что наш разбор побудит исследователей лексики при реконструкции исконных смыслов осмотрительнее относиться к “богословским” (как правило, позднейшим) толкованиям терминов и больше полагаться на методы этимологического и словообразовательно-семантического анализа.

Рассмотрим далее один из центральных для всего средневековья концептов – понятие *премудрость*. Уже в древнейших переводах обозначена терминологическая оппозиция **мѣдрѣи** ‘обладающий земной мудростью; здравомыслящий’ – **прѣмѣдрѣи** ‘просвещенный

<sup>16</sup> Особая проблема, которой мы здесь не можем касаться – истолкование в данном контексте термина *дух*.

<sup>17</sup> Ср. у Н.В. Гоголя в “Размышлениях о Божественной литургии” (СПб., 1894 – репр. М., 1990, с. 40): “блаженн нищие духом..., т. е. блаженн негордящиеся, невозносящиеся умом”. В Словаре В. Даля: **Нищий духом** – *смирный* [Даль<sup>2</sup> II: 548]. Та же тенденция представлена в [СРЯ II: 688] и в новейших справочниках крылатых слов [Николаюк 1998: 45] (в последнем, правда, есть ряд верных замечаний о первоначально чисто “имущественном” значении слова *нищий*).

свыше; обладающий божественным знанием'. Здесь мы имеем дело с типичным для солунских братьев пословным переводом, когда слову **мѣдрѣи** в оригинале всегда соответствует **φρόνιμος** 'разумный, здравомыслящий', а **прѣмѣдрѣи** всегда служит переводом греч. **σοφός** 'мудрый'. То же самое верно и для производных [Люсен 1995: 212, 237]<sup>18</sup>. Зафиксированный в первых переводах термин **прѣмѣдрость** сохранился до наших дней, но приобрел в современном русском языке по иронии судьбы совершенно чуждые ему коннотации. Так, наряду с нейтрально-публицистическим *постигать премудрости профессии* и т. п., вполне по-современному звучит иронично-разговорное *поди разберись в этой премудрости*. Что же касается адъектива *премудрый*, то он в современном языке вообще вышел из употребления<sup>19</sup>. В наши дни место кирилло-мефодиевского термина *мудрый* занял термин *разумный*, а вместо кирилло-мефодиевского *премудрый* мы говорим *мудрый*. Налицо коренное переосмысление наследия славянских первоучителей в том, что касается оппозиции *мудрый – премудрый*.

Таким образом, далеко не все славянизмы современного русского языка сохранили свою исконную семантику, вложенную в них славянскими первоучителями.

Несмотря на то, что кирилло-мефодиевское наследие в современной русской лексике вычленяется с большими трудностями, эта задача выглядит осуществимой. Конечно, пока не определен

<sup>18</sup> Закрепленность славянских корней за своими греческими соответствиями оказалась настолько прочной, что в последующей традиции греческие лексемы с корнем **σοφ-** имели сильнейшую тенденцию переводиться славянскими образованиями с основой **прѣмоудр-** даже если речь шла не о просвещенных свыше "богоразумных" людях, а просто об учителях риторики, "софистах". Ср. в Синайском патерике: **прѣмоудрын Софронни** (в дальнейшем употребляется преславский неологизм **прѣмоудрьць**) [Синайский патерик 1967: 255, 260] в соответствии с греч. **σοφιστής** 'преподаватель риторики', ср. [СлРЯ XI–XVII 18: 284].

<sup>19</sup> Ср. [СРЯ III, 519] – с пометой *устар.* Художественная нейтрализация кирилло-мефодиевской оппозиции **мѣдрѣи** 'обладающий земной мудростью; здравомыслящий' – **прѣмѣдрѣи** 'просвещенный свыше' использована, например, в рассказе М. Е. Салтыкова-Щедрина "Премудрый пискарь". Здесь сатирик иронически профанирует исконно высокий смысл второго термина. Использование этого приема доказывает, между прочим, что среди читающей публики конца XIX в. оппозиция *мудрый – премудрый* была еще жива и узнаваема. В языке конца XX в. слово *премудрость* в его трансцендентном смысле является глубоким архаизмом и относится к пассивному фонду – поэтому современный читатель едва ли до конца поймет смысл щедринаского рассказа без специального комментария.



корпус сочинений Кирилла и Мефодия, пока не реконструирована его лексика и *персональные элементы* языка не отделены от элементов живых славянских говоров, трудно говорить о решении этой задачи в полном объеме. Однако кое-что можно сделать уже сейчас. Так, для изучения абстрактной лексики неопределимое значение имеет “Написание о правой вере”, приписываемое Константину-Кириллу и представляющее собой перевод богословского фрагмента константинопольского патриарха Никифора I (806–815)<sup>20</sup>. Действительно, язык “Написания” очень архаичен, а изощренная техника перевода выдает в переводчике билингва – замечательного знатока как греческого, так и славянского языков, хорошо знакомого с тонкостями византийского богословия. Подробный анализ показал, что лексика этого перевода в существенной своей части вошла в современный русский язык. Вообще кирилло-мефодиевское происхождение славянской богословской терминологии не всегда очевидно – как известно, во многих случаях богословской адаптации подверглись древние праславянские лексемы (*богъ, грѣхъ, неприязнь, жрътва, образъ и подобие* и т. п.). Из “Написания” мы выделили лишь такие термины, которые определенно не могли существовать в докирилловскую эпоху. Их искусственность выявляется комплексным словообразовательно-семантическим анализом, который с большой долей вероятности (хотя и не всегда стопроцентно) позволяет считать их результатом кирилловского терминотворчества.

В заключение назовем (в алфавитном порядке) некоторые конструкты, унаследованные современным русским языком и восходящие к *личному* творчеству Константина-Кирилла (в скобках строка “Написания о правой вере” по изд. Верещагина-Юрченко; сомнительные случаи отмечены звездочкой). Дополнительное подтверждение нашим выводам видим в том, что приводимые термины отсутствуют в вышедших томах ЭССЯ.

Сложения с *без-*: *безбожие* (71), *безвременный* (169)<sup>21</sup>, *безначальный* (11,15), *бесплотный* (216), *бессмертный* (217). Приставочные сложения с *\*bez-* были продуктивны еще в праславянскую эпоху [ЭССЯ 2: 14–54]. Однако названные слова едва ли могли существовать до Кирилла – настолько специфична их семантика,

---

<sup>20</sup> См.: [Юрченко 1987; Верещагин, Юрченко 1989]. Лучшее издание текста: [Верещагин, Юрченко 1996].

<sup>21</sup> Об этом слове см. [Копорская 1988: 64].

восходящая к византийской богословской мысли. Другие кирилловские слова в современном языке: \*ангел (230)<sup>22</sup>, благоверный (245, 360), богородица (131, 196, 352), божество 'божественная природа' (в отличие от человеческой) (passim), божественный (204), бытие (170), воплотиться (129, 218), воплощение (178), воскресение (145), единение (258), единство (82)<sup>23</sup>, естество (passim), естественный (183), животворящий (124, 144), \*икона (345, 349), невидимый (11, 12 и др.), неизменный (13, 138 и др.), неописанный 'не поддающийся описанию' (217), непреложный (139, 182, 212), неравенство (79), приснодева (131, 351), свойственный (81), свойство (24, 248), существенный (298), существо (passim), троица (21, 106, 112)<sup>24</sup>, человечество 'человеческая природа' (137, 140 etc.) и ряд других.

Кирилло-мефодиевские элементы современного литературного языка, хотя бы на уровне лексики, следует и впредь вычленять и регистрировать. Лишь после накопления и обработки конкретных языковых фактов можно обоснованно говорить о том или ином "наследии" первоучителей в современном языке. Методологически важным представляется тщательно отделять "кирилло-мефодиевское" от докирилловского, позднепраславянского, с одной стороны, и от послемефодиевского, преславского – с другой.

## ЛИТЕРАТУРА

Верещагин 1996: *Верещагин Е. М.* Кирилл и Мефодий как создатели первого литературного языка славян // Очерки истории культуры славян. М., 1996.

Верещагин 1997: *Верещагин Е. М.* История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997.

Верещагин, Юрченко 1989: *Верещагин Е. М., Юрченко А. И.* Греческий источник "Написания о правой вере" Константина-Кирилла Философа // Советское славяноведение. 1989, № 3, с. 54–63.

---

<sup>22</sup> Теоретически допустимо, что в результате тесных контактов солунских славян с греками такие слова как *ангелъ* и *икона* (см. ниже) могли перейти в славянский язык еще в докирилловскую эпоху (такие заимствования известны: ср. *монастырь*, *попъ*, *калоугеръ* и т. п.).

<sup>23</sup> В применении к единой природе Божества (ἐνός). В праславянском языке реконструируется термин \**edinica* со знач. 'единственная дочь' [ЭССЯ 6: 10]. Вероятно, чтобы избежать дублирования, Константин создал термин *единство*.

<sup>24</sup> Термин *троица*, образованный от собир. формы *трое*, создан Константином, видимо, по аналогии с реально существовавшим (хотя и в другом значении) *едица*, ср. прим. 23.

Верещагин, Юрченко 1996: *Верещагин Е. М., Юрченко А. И.* «Написание о правой вере» Константина-Кирилла Философа: билинейно-спатическая публикация источника; представление и оценка нового издательского метода. Статья первая // *Русистика сегодня*. 1996, № 3, с. 67–102; Статья вторая // *Русистика сегодня*. 1996, № 4, с. 61–95.

Гавранек 1967: *Гавранек Б.* Задачи литературного языка и его культура // *Пражский лингвистический кружок. Сборник статей. Сост., ред. и предисловие Н. А. Кондрашова*. М., 1967.

Горшков 1987: *Горшков А. И.* Отечественные филологи о старославянском и древнерусском литературном языке // *Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому*. М., 1987.

Евангелие от Иоанна 1998: *Евангелие от Иоанна в славянской традиции*. Изд. подготовили: А. А. Алексеев, А. А. Пичхадзе и др. СПб., 1998.

Иванова-Мирчева 1977: *Иванова-Мирчева Д.* К вопросу о характеристике болгарских переводческих школ от IX–X до XIV века // *Palaeobulgarica*. 1977, № 1.

Копорская 1988: *Копорская Е. С.* Семантическая история славянизмов в русском литературном языке нового времени. М., 1988.

Люсен 1995: *Люсен И.* Греческо-славянский конкорданс к древнейшим спискам славянского перевода евангелий (codices Marianus, Zographensis, Assemanianus, Ostromiri). Uppsala, 1995 [= *Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia*, 36].

Максимович 1991: *Максимович К. А.* “О тропах” или “Об оборотах речи”. Трактат Георгия Хировоска в Изборнике 1073 г. (Перевод и комментарий) // *Историко-культурный аспект лексикологического описания русского языка*. М., 1991. Ч. I.

Николаюк 1998: *Николаюк Н.* Библиейское слово в нашей речи. Словарь-справочник. СПб., 1998.

Рождественская 1987: *Рождественская Т. В.* Письменная традиция Северной Руси по эпиграфическим данным // *Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому*. М., 1987.

Синайский патерик 1967: *Синайский патерик*. Изд. подготовили В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967.

Хабургаев 1994: *Хабургаев Г. А.* Первые столетия славянской письменной культуры (Истоки древнерусской книжности). М., 1994.

Христова 1991: *Христова И.* О славянских переводах господней молитвы // *Palaeobulgarica*, XV. 1991, № 3.

Юрченко 1987: *Юрченко А.* К проблеме идентификации “Написания о правой вере” // *Богословские труды*. 1987. Т. 28.

Berneker 1912: *Berneker E.* Kyrills Übersetzungskunst // *Indogermanische Forschungen*. 1912/1913. Bd. XXXI.

Cibulka 1959: *Cibulka J.* Επιούσιος – старослав. *насъщъныи* – quotidianus – *vezdější* // *Slavia*. 1956, № 3.

Debrunner 1912: *Debrunner A. Επιόσιος* // Glotta. 1912. Bd. IV.

Jagić 1913: *Jagić V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache*. Berlin, 1913.

Marti 1988: *Marti R. Besonderheiten der Sprache Methods* // Symposium Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. April 1985) zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method. Hrsg. von Klaus Trost, Ekkehard Völkl, Erwin Wedel. Neuried, 1988. [= *Selecta Slavica*, 13].

Vajs 1935: *Vajs J. Evangelium sv. Matouše. Text rekonstruovaný*. Praha, 1935. [= *Kritické studie staroslovanského textu biblického III*].

Vašica 1971: *Vašica J. Zakonъ sudnyi ljudьmъ – Soudní zákonk pro lid* // *Magnae Moraviae Fontes Historici*. Brno, 1971. T. IV.

Ф. Р. МИНЛОС

### Болгарские этимологии (*бацам, було, диал. бинички*)

Болг. *бацам* 'целовать'.

Под реконструкциями *\*bacati*/*\*vocati*, *\*bacŋti*/*\*vocŋti* в [ЭССЯ 1: 118–119] объединены, как нам представляется, 2 разных лексических гнезда. Одна группа лексики (со значениями типа 'бросать, бить') состоит из слов экспрессивных, фонетически нерегулярных и представленных в большинстве славянских языков. Южнославянские слова со значением 'целовать' следует выделить особо: болг. *бацам*, *бакам* 'целовать', макед. *бакне*, *баци* 'поцеловать', чак. (о. Црес) *bāknut* 'kiss' [Houtzagers 1985: 206].

Чередование *\*bakŋti* – *\*baciti* – *\*bacati*/*\*bakati*, которое можно реконструировать по существующим материалам, имеет достаточно архаичный вид. Судя по всему, это отдельная глагольная основа, не связанная с прочей экспрессивной лексикой. Она созвучна латинской и романской лексике: лат. *bāsium* 'поцелуй' (считается кельтским варваризмом, введено в литературный язык Катуллом, см. [Ernout-Meillet: 67; Гаспаров 1986: 179]), итал. *bacio* 'поцелуй', *baciare* 'целовать', исп. *beso*, порт. *baizar*. О романских рефлексах подробнее см. [Сергиевский 1952: 179, 193, 210].

Болг. *було* 'фата'.

Болг. *було* имеет два значения – 1. 'подвенечная фата; легкое покрывало (для лица или на голову)', 2. 'брюшина (т. е. оболочка брюшной полости)'. В болгарском этимологическом словаре [БЕР 2:

89] и в заметке О. Н. Трубачева, специально посвященной этому слову [Трубачев 1965: 11–12], упоминается только первое из этих двух значений. При этом в БЕР слово считается неясным, а О. Н. Трубачев дает этимологию, с которой мы позволим себе не согласиться. Думается, что обращение ко второму значению слова *бúло* – ‘брюшина’ – позволяет прийти к более приемлемому этимологическому решению.

Рассмотрим диалектные аналоги этого литературного слова. Это пирд. *було́*, севл., троян. *бу́лу*, страндж. *бу́ло*, казан. *бу́ло* [Кънчев 1968: 91; Ковачев 1970: 10; Ковачев 1968: 192; Горов 1962: 70; Китипов 1970: 109]. Во всех этих диалектах записаны значения ‘фата невесты’ и почти везде ‘брюшина животного’. Кроме того, троян. *бу́лу* значит также ‘белая оболочка на некоторых видах грибов’, а казан. *бу́ло* – ‘сводчатый дощатый передок у очага в крестьянском доме’.

О. Н. Трубачев считает, что *бу́ло* восходит к *\*(o)b-ulo*, где корень *\*u* тот же, что в слав. *\*-uti* и пр. При этом ясно, что никаких славянских (или балтийских) свидетельств значения ‘одевать’ для этого корня нет. Так что эта этимология остается достаточно рискованной. Мы предлагаем другую версию, которая лежит на поверхности и, кажется, незаслуженно игнорируется. Речь идет о связи со слав. *\*bula*: с.-х. *būla* ‘все круглое: пузырь, кукурузное зерно, разжаренное на огне’, словен. *būla* ‘водяной пузырь’, диал. ‘пригорок’ и др., в конечном счете значение – ‘нечто надутое’ [ЭССЯ 3: 92–93]. Связь значений ‘пленка’ и ‘пузырь’ можно наблюдать по рефлексам слова *\*bolna*: словен. *blāna*, словц. *blana*, чеш. *blána*, польск. *blona* ‘пленка’, укр. *болóна* ‘оболочка’, рус. *болонá* ‘часть наиболее молодой древесины между корой и стволом’ ~ рус. диал. *болонá* ‘шишка, опухоль, нарост на теле человека/на коре дерева’ [ЭССЯ 2: 175–177].

Болг. диал. *бинички* ‘часть ткацкого стана’.

В [ЭССЯ 2: 87] реконструируется *\*bēni*, *\*bēnky* на основании рус. диал. яросл. *бэни* ‘накладка на телегу, сделанная вроде санок; служит для перевозки сена, соломы’ и ст.-чеш. *běnky*, *bienky* ‘мотовило, сновальня, мялка; приспособление для тканья полотна или обработки льна’. В [Журавлев 1990: 22] сюда добавлено рус. диал. *бяны*, *бян(ь)ки* ‘вилы разных видов’ [СРНГ 2: 242; 3: 360]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Развитие *\*ě > я*, при всей его необычности, случается в русских говорах. Отметим такие слова, как свердл., перм., нижегор. *ляха* ‘полоса пашни’, яросл., ряз.

Кроме того, в эту же этимологическую группу можно добавить болг. диал. дедеаг. *бинички* мн. 'часть ткацкого стана – приспособление для закрепления блоков' [Бояджиев 1970] (в этом говоре редукция безударного *e* > *и* регулярна).

При разнообразии значений семантический инвариант, видимо – 'приспособление для закрепления или для хватания'. Привлекает внимание морфологическая черта: все эти слова – pl. tantum (эта морфологическая черта обусловлена семантически). Особенно надежной выглядит именно связь ст.-чеш. слова с болгарским диалектным, так как оба слова обозначают детали ткацкого стана.

Связывать это этимологическое гнездо с *\*biti* не кажется особенно продуктивным. Действительно, вилами можно и бить (ср. пример *Бабы на поле били навоз бянами* [СРНГ 3: 360]). Но если принять тот семантический инвариант, который мы предложили, то на праславянском уровне такая связь проблематична.

А. Ф. Журавлев аргументирует связь *\*běni* и *\*biti* с помощью "figura etymologica" – дон. *бэньки бить* 'бездельничать'. На наш взгляд, однако, в этом фразеологизме выступает дон. *бэньки* 'глаза', которые связаны с рус. диал. *бáнькí* 'глаза' ([СРНГ 2: 97]; восходит, видимо, к *\*banьka* 'пузырь' – см. [ЭССЯ 1: 152–153], где рус. диал. *бáнькí* 'глаза' не приводится).

Что касается этимологии для слав. *\*běni*, то вероятной кажется возможность соотнесения с герм. *\*bain-an* 'кость, бедро' (др.-исл., д.-в.-н. *bein*, др.-англ. *bān*, см. [Vries: 30]); о такой возможности говорится в [ЭССЯ 4: 7].

## ЛИТЕРАТУРА

Бояджиев 1970: Бояджиев Т. Из лексиката на село Дервент, Дедеагачко // БД. София, 1970. Кн. 5.

Гаспаров 1986: Гаспаров М. Л. Поэзия Катулла // Катулл Г. В. Книга стихов, М., 1986.

Горов 1962: Горов Г. Странджанският говор // БД. София, 1962. Кн. 1.

Журавлев 1990: Журавлев А. Ф. К уточнению представлений о славянских изоглоссах. М., 1990. Ч. 1.

---

и др. *вѣха* (*Эку вѣху сказал*), яросл., перм., том., новосиб. и др. *крясла* 'санные отводы', пск., твер., новг., лежнгр., волог. *дѣнки* 'варежки', твер. *наслѣдять*.

Китипов 1970: *Китипов П.* Речник на говора на с. Енина, Казанлъшко // БД. София, 1970. Кн. 5.

Клепикова 1966: *Клепикова Г. П.* Материалы для словаря юго-восточных болгарских говоров // Славянская лексикография и лексикология. М., 1966.

Ковачев 1968: *Ковачев С.* Троянският говор // БД. София, 1968. Кн. 4.

Ковачев 1970: *Ковачев Н. П.* Речник на говора на с. Кръвеник, Севлиево // БД. София, 1970. Кн. 5.

Кънчев 1968: *Кънчев И.* Говорът на с. Смолско, Пирдопско // БД. София, 1968. Кн. 4.

Сергиевский 1952: *Сергиевский М. В.* Введение в романское языкознание. М., 1952.

Стойчев 1970: *Стойчев Т.* Родопски речник // БД. София, 1970. Кн. 5.

Трубачев 1965: *Трубачев О. Н.* Славянские этимологии 41–47 // Этимология. Принципы реконструкции и методика исследования. М., 1965.

Houtzagers 1985: *Houtzagers H. P.* The čakavian dialect of Orlec on the island of Cres. Amsterdam, 1985.

Т. Н. МОЛОШНАЯ

### Постпозитивный артикль в современных болгарском и шведском языках (сопоставительный анализ)\*

Постпозитивный суфигированный артикль является морфологическим средством выражения определенности имени, в отличие от препозитивного свободстоящего определенного артикля, относящегося к лексико-грамматическим средствам этой категории. Как постпозитивный, так и препозитивный определенные артикли в современных болгарском и шведском языках полностью грамматикализировались, т. е. стали формальными выразителями категории определенности. В современном болгарском литературном языке постпозитивный артикль представлен суффиксами *-ят/-ят/-та/-то* (м.р.ед.ч.), *-та* (ж.р.ед.ч.), *-то* (ср.р.ед.ч.), *-те/-та* (мн.ч.); в шведском — *-en/-n* (общ.р.ед.ч.), *-ett/-t* (ср.р.ед.ч.), *-na/-en/-a* (мн.ч.). Важно отметить, что определенный артикль присоединяется не к основе, а к готовой форме слова, уже снабженной окончанием: болг. *жен-a* —

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 97-04-06180.

*жена-та*, шв. *flick-a* – *flicka-n* 'девочка'. Форма постпозитивного артикля и в болгарском и в шведском видоизменяется в зависимости от рода и числа существительного, а также от того, на какой звук оканчивается данное существительное (согласный, гласный [а], гласный [о], прочие гласные). Последнее обстоятельство является решающим в выборе формы артикля. (См. подробные правила в [Маслов 1981: 142–145; Андрейчин 1949: 97–100; Маслова-Лашанская 1953: 123–127]).

Поскольку шведский язык не различает мужского и женского родов, объединяя их в общий род, наборы постпозитивных артиклей в сравниваемых языках, с точки зрения категории рода, оказываются организованными по-разному. Кроме того, в болгарском определенный суффиксированный артикль в ед.ч.м.р. имеет две формы – полную и краткую: *-ът/-ят* – полная (*градът, пътят*) и *-а/-я* – краткая (*града, пътя*). Правила различия этих вариантов формулируются в нормативных грамматиках (см., например, [Андрейчин 1949: 99]). Шведский язык не делит постпозитивный артикль на полную и краткую формы.

Надо заметить, что болгарский постпозитивный артикль обнаруживает значительное варьирование по диалектам, вызванное фонетическими причинами. Так, для м.р.ед.ч. он может быть представлен суффиксами *-ът, -ат, -от, -џт, -џт, -џ, -а, -о, -у* и проч. (*синът, синат, синот, синџт, синџт, синџ, сина, сино, сину* и проч.). Кроме вариантов постпозитивного артикля, имеющих значение общей определенности, в родопских и трынском говорах встречаются две иные формы – одна употребляется для обозначения определенных предметов, расположенных в пространстве и времени близко от говорящего (*-џс/-ас/-џс/-ос/-џс/-ес/-џс, -са, -со, -се/-са* в родопских и *-џв, -ва, -во, -ве/-ва* в трынском говорах), другая обозначает определенность предметов далеких от говорящего (*-џн/-ан/-џн/-он/-џн/-ен/-ен, -на, -но, -не/-на*). Например, близкая определенность в родопских говорах: *носџс, женаса, маслосо, воловесе*; далекая определенность: *синџн, женана, маслоно, воловене*; близкая определенность в трынском говоре: *кон'џв, женава, детево*; далекая определенность: *кон'џн, женана, детено*. Родопские говоры отличаются от всех остальных тем, что эта система трех форм определенного постпозитивного артикля, соответствующая системе указательных местоимений с тремя членами (*тойа, тоа* и проч. – безотносительно к



расстоянию до объекта, *soja, soa* – для близкого объекта и *noja, noa* – для далекого объекта), там хорошо представлена. В трынском говоре такая тройная ориентация в постпозитивном артикле уже исчезает, остается лишь артикль общей определенности [Stojkov 1969].

В некоторых говорах, преимущественно рупских, сохранились падежные формы постпозитивного артикля, главным образом формы родительного и дательного падежей, отдельные от падежных форм существительного: *откара волатога, дай волутому сену*. Это отражает древнее состояние языка, когда указанные местоимения, располагавшиеся после определяемого ими существительного, еще не превратились в современный постпозитивный артикль (см. [Стойков 1962: 141]).

В шведском языке также наблюдается некоторое варьирование постпозитивного артикля по географическому и стилистическому принципам. Например, в центральных областях Швеции в разговорной речи постпозитивный артикль ср.р.ед.ч. теряет окончание *-t*, так что определенная форма существительного с *-t* совпадает с неопределенной формой (*knä* вместо *knät* 'колени'), а определенная форма с *-et* оказывается оканчивающейся на *-e* (*take* вместо *taket* 'крыша'). См. [Маслова-Лашанская 1953: 125]).

Известно, что во всех индоевропейских языках определенный артикль развился из ослабленного указательного местоимения. Сильные местоимения имели самостоятельное ударение и это давало им свободу в перемещении внутри предложения, но тенденция состояла в препозитивном употреблении сильных местоимений по отношению к имени или именной группе. В болгарском и скандинавских языках указательное местоимение, помещавшееся после имени, с которым оно связано, становилось безударным и претерпевало семантические (ослабление и затем исчезновение значения указательности) и формальные изменения, после чего сливалось с этим именем. Указательная семантика стиралась постепенно, поэтому постпозитивный артикль долго сохранял оттенки значения указательности, пока они полностью не заменились артиклевым значением определенности (ср. [Гъльбов 1986]). Изучая историю становления постпозитивного артикля, Й. Курц пришел к выводу, что, хотя формальный путь к возникновению артикля в староболгарском языке был подготовлен, со смысловой и функциональной стороны он еще не был осуществлен [Курц 1962]. В противоположность Й. Курцу, Ф. Славский утверждал, что постпозитивный артикль успел полностью развиться уже в староболгарском языке [Sławski 1946].

В скандинавских языках суффицированный определенный артикль также произошел из ослабленных указательных местоимений. Этот артикль отмечен в рунических надписях Швеции с середины XI века, но есть основания полагать, что в разговорной речи он появился еще в X веке [Стеблин-Каменский 1953: 189–195]. Считается наиболее правдоподобным, что он развился из того указательного местоимения, которое представлено в др.-исл. *hin* и др.-дат. *hin* 'этот', например, др.-исл. *fiskrinn* 'рыба'. Скандинависты предполагают, что агглютинация возникла либо в словосочетаниях типа *karl inn gamli* 'человек этот старый', откуда получилось *karlinn gamli* и затем просто *karlinn* 'старик', либо она явилась результатом обычной постановки указательного местоимения после определяемого существительного (ср. совр. шв. *månaden* 'месяц'). В древнешведском суффицированный артикль обладал относительной морфологической самостоятельностью – он склонялся отдельно от существительного: *stafr-in* 'палка' – *stafs-ins* 'палки' (род. пад.).

Весьма широко распространено мнение, что и для русского языка характерен тот же путь образования постпозитивного артикля из слабого безударного указательного местоимения, стоявшего после ударного компонента именной группы. Такое совпадение в первую очередь с болгарским объясняют тем, что появление постпозитивного артикля якобы относится к общеславянскому периоду и связано с универсальной языковой склонностью к развитию указательного местоимения в определенный артикль (ср. [Милетич 1901; Wissemann 1939; Гъльбов 1986]). Так, некоторые русские лингвисты говорили об определенном постпозитивном артикле в древнерусском языке (см. [Булаховский 1939; Богородицкий 1935: 116–117]). А. А. Шахматов считал, что имеются данные для утверждения, что в древнерусском языке развивался грамматический постпозитивный член, но в современном русском, в том числе в диалектах, он не утвердился. А. А. Шахматов показал, что в приводимых обычно примерах из народных говоров указательный элемент *-т* имеет далеко не всякое существительное со значением определенности, а категория артикля может считаться установленной только при условии полной регулярности; кроме того, рядом с употреблением *-т* при существительном нередко его употребление при местоимении (*он-то*), а также при глаголе (*говорят-то*). Все это свидетельствует, что речь может идти не об артикле, а об указательной частице [Шахматов 1941: 499]. А. М. Пешковский также не видел артиклевого характера

в постпозитивном *-то*. Он писал, что частица *-то* помогает выделить слово, позади которого она стоит, усилить его значение по сравнению с другими словами предложения (*Это-то он делает*) [Пешковский 1956: 41].

Если сравнивать современный болгарский постпозитивный артикль *-ът, -та, -то, -те* с постпозитивными частицами *-т/-от, -та, -то, -те* в русском литературном языке и в севернорусских диалектах, то следует помнить критику, которой были подвергнуты А. М. Селищевым утверждения Л. А. Булаховского о совпадении функций этих болгарских и русских формальных элементов [Селищев 1941; Селищев 1939]. А. М. Селищев считал такие утверждения неправомерными, ибо членные формы современного болгарского языка не представляют собой продолжения в синтаксическом отношении состояния, отраженного в древнеболгарских памятниках. Членные формы современного болгарского языка явились результатом морфологических и семантико-синтаксических процессов, пережитых болгарским языком в среднеболгарскую эпоху вместе с другими балканскими языками. Сочетания же с *тъ, та, то* (*рабъ тъ*) старославянских памятников обусловлены в основном греческим оригиналом, для которого была характерна постпозиция указательных местоимений. А. М. Селищев показал, что в русском языке сочетания с местоимением *то, та, те* имели и имеют конкретное указательное значение, а сочетания с частицами *-т/-от, -та, -то* и проч. выполняли и выполняют эмоционально-экспрессивную, эмфатическую функцию.

Этот вывод А. М. Селищева нашел поддержку у многих современных исследователей русских диалектов. Наиболее значимые результаты получены И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко [Кузьмина, Немченко 1962]. Авторы пишут, ссылаясь не только на А. М. Селищева, но и на С. С. Высоцкого, П. С. Кузнецова, А. М. Пешковского, В. К. Чичагова, что в настоящее время следует признать установленным, что постпозитивные *от, та, то, ту, те, ти, ты* в русских говорах (в том числе в севернорусских) являются не артиклем, а частицами. У этих частиц отмечается усилительное, выделительное, но не артиклевое значение. Они выступают в сочетаниях с разными частями речи, главным образом с именем (существительным, прилагательным, местоимением, числительным), из глагольных форм чаще всего употребляются с инфинитивом, из наречий – с теми, которые образованы от существительных: *дом-от, окно-то, соль-та, кошку-ту, старики-ти, ноги-ты; молод-от, мой-от, один-от* и проч. Интересно,

что при им.-вин. падежах имени встречаются все постпозитивные частицы, при формах остальных падежей выступает лишь частица *то*.

Недавно опубликована статья Л. Л. Касаткина, в которой на большом материале из севернорусских говоров проанализированы формы существительных в им. и вин. пад. ед.ч. на *-о* типа *сино*, *домо*. Л. Л. Касаткин утверждает, что формы на *-о* (*домо*), в отличие от форм на согласный (*дом*), воспринимаются как выделенные и что в этом отношении окончание *-о* у данных существительных стало выполнять ту же усилительно-выделительную функцию, что и упомянутые выше постпозитивные частицы. Артиклевое значения определенности ни в формах на *-о*, ни в сочетаниях с постпозитивными частицами Л. Л. Касаткин не находит [Касаткин 1996].

Доводы цитированных лингвистов представляются убедительными и заставляют согласиться с тем, что сходство современного болгарского постпозитивного артикля с русскими постпозитивными частицами является внешним. В современном русском языке соединения существительного с этими частицами не стали регулярными грамматическими формами категории определенности, постпозитивный артикль в русском языке не сформировался.

Статус категории определенности в болгарском и шведском языках разный, это видно из того, что в шведском, кроме постпозитивного, имеется еще и препозитивный свободностоящий артикль: *den* (общ.р.ед.ч.), *det* (ср.р.ед.ч), *de* (мн.ч. обоих родов). Правда, он употребляется лишь в специальных условиях, например, когда существительное определяется прилагательным, причастием или порядковым числительным, и не вместо суффиксированного артикля, а, как правило, одновременно с ним: *den varma dag-en* 'теплый день'. В болгарском же определенность существительного может быть выражена только с помощью постпозитивного артикля.

В болгарском и шведском языках категория определенности свойственна и прилагательному. При этом она отражает определенность существительного, к которому прилагательное относится, т. е. является синтаксической согласовательной категорией. В болгарском определенные формы образуются от неопределенных присоединением постпозитивных артиклей-суффиксов; последние различаются в зависимости от рода и числа, а также от окончания неопределенных форм прилагательных: *бял(бели)* – *бели-я(т)*, *бяла* – *бяла-та*, *бяло* – *бяло-то*, *бели* – *бели-те*. В шведском определенная форма образуется от неопределенной с помощью суффикса *-a* (*-e*) для всех

родов и чисел: *ung* – *ung-a* ‘молодой, молодая’ (общ.р.ед.ч.), *friskt* – *frisk-a* ‘здоровое’ (сп.р.ед.ч.), *unga* – *ung-a* ‘молодые’ (мн.ч.).

В болгарском языке в атрибутивных сочетаниях определенный артикль присоединяется не к существительному, а к его определению, так что определенная форма прилагательного не дублирует определенную форму существительного (*царски-ят син*, но не *царски-ят син-ът*); если же определений несколько, то обычно артикль присоединяется только к первому из них (*наша-та зелена гора*). Однако из этого правила имеются исключения (см. [Маслов 1981: 175–176]). При инверсии же, когда определение-прилагательное следует за существительным, оно выступает в неопределенной форме, а артикль присоединяется к существительному (*свод-ът небесен*). Иными словами, в болгарском языке постпозитивный артикль всегда ставится при первом компоненте именного словосочетания. В шведском языке положение иное, там прилагательное почти механически повторяет и неопределенную и определенную форму управляющего существительного: *en kall vinter* ‘какая-то холодная зима’ – *den kall-a vinter-na* ‘определенная холодная зима’. В некоторых случаях из этого правила возможны исключения [Маслова-Лашанская 1953: 149–150].

Таким образом, сравнивая болгарские определенные формы прилагательного со шведскими, необходимо учитывать, среди всего прочего, что в шведском наряду с определенными формами, образованными с помощью суффиксов, имеются также взаимодействующие с ними определенные и неопределенные препозитивные артикли, которых нет в болгарском. Так что, болгарским двусловным сочетаниям типа *здраво дете* и *здравото дете* соответствуют шведские трехсловные: *ett friskt barn* ‘какой-то здоровый ребенок’ и *det friska barnet* ‘известный здоровый ребенок’.

Общий вывод, к которому можно прийти на основе изложенного, следующий: болгарский и шведский языки, принадлежащие к разным группам внутри индоевропейской семьи и географически не соприкасающиеся, демонстрируют, при некоторых отличиях друг от друга, значительные семантические, формальные и функциональные сходства в области категории определенности, которая получила в них грамматический характер (см. [Молошная 1998]). Встает естественный вопрос о причинах такого сходства. Представляется, что это может быть либо совпадение самостоятельных по происхождению явлений, либо реликты общиндоевропейского

состояния. В лингвистике бытует мнение об универсальном пути языковой эволюции, согласно которому языки, генетически не связанные или связанные не самым тесным образом, как в данном случае, иногда независимо друг от друга развивают аналогичные или совпадающие категории и формы. Это вызывается не происхождением от общего предка и происходит не в силу заимствований и чуждых влияний, а в силу общих закономерностей, проявляющихся в каждом языке сообразно характерным особенностям его структуры. Как писал Р. Якобсон в известной статье "К характеристике евразийского языкового союза", два генетически разных языка могут пережить один и тот же процесс, причем процесс, не находящий себе параллели ни в одном родственном языке. Разными средствами из несхожего материала создаются однотипные построения [Jakobson 1962]. Однако сложность лингвистических фактов не позволяет говорить об одной единственной причине того или иного совпадения. Прежде всего следует искать общую предпосылку всего явления в целом. По-видимому, первоотчетком к развитию категории определенности во всех индоевропейских языках явилось ослабление демонстративной силы указательных местоимений, проявившееся в форме и значении. Указательные местоимения, стоявшие как перед именем, так и после него, постепенно претерпели семантические изменения, в результате которых они утратили чистую указательность, приобретя сначала артикледоподобное, а затем — полностью артиклевое значение. В образовании определенных препозитивных артиклей индоевропейские языки проявляют почти полный поразительный параллелизм. Не менее поразительно и сходное развитие постпозитивных определенных артиклей в болгарском и скандинавских, в частности, в шведском языках.

В других славянских языках, например, в русском, образования постпозитивного артикля из безударного указательного местоимения, находившегося после существительного, не произошло, так как не оказалось соответствующих условий, хотя предпосылки такого явления наблюдались. В болгарском же, кроме "собственных средств", имел место чужой импульс — влияние окружающих балканских языков, в первую очередь румынского (ср. [Sandfeld 1930: 165–173]). Здесь можно видеть факторы, в наибольшей степени зависящие от частных закономерностей, заложенных в системе заимствующего языка, от спроса на заимствования, соответствующего возможностям и нуждам эволюции этой системы [Jakobson 1962: 149].

## ЛИТЕРАТУРА

- Андрейчин 1949: *Андрейчин Л.* Грамматика болгарского языка. М., 1949.
- Богородицкий 1935: *Богородицкий В. А.* Общий курс русской грамматики. М.-Л., 1935.
- Булаховский 1939: *Булаховский Л. А.* Исторический комментарий к литературному русскому языку. Киев, 1939.
- Гълъбов 1986: *Гълъбов Ив.* За члена в българския език // *Ив. Гълъбов. Избрани трудове по езикознание.* София, 1986.
- Касаткин 1996: *Касаткин Л. Л.* Гласные звуки на конце слова в современных севернорусских говорах на месте редуцированных гласных древнерусского языка // *Русистика. Славистика. Индоевропеистика.* М., 1996.
- Кузьмина, Немченко 1962: *Кузьмина И. Б., Немченко Е. В.* К вопросу о постпозитивных частицах в русских говорах // *Материалы и исследования по русской диалектологии.* Новая серия. М., 1962. Т. 3.
- Куриц 1962: *Куриц Й.* Проблемата на члена в старобългарския език // *Език и литература.* 1962. № 3.
- Маслов 1981: *Маслов Ю. С.* Грамматика болгарского языка. М., 1981.
- Маслова-Лашанская 1953: *Маслова-Лашанская С. С.* Шведский язык. Л., 1953. Ч. I.
- Милегич 1901: *Милегич Л.* Членът в българския и руския език // *Сборник за народни умотворения.* София, 1901. Кн. 18.
- Молошная 1998: *Молошная Т. Н.* Контакты славянских языков с неславянскими: славяно-балканские и скандинавские факты (система артиклей) // *Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов.* М., 1998.
- Пешковский 1956: *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
- Селищев 1939: *Селищев А. М.* О языке современной деревни // *Сборник статей по языкознанию филологического факультета ИФЛИ.* М., 1939. Труды МИФЛИ. Т. V.
- Селищев 1941: *Селищев А. М.* Критические заметки по истории русского языка // *Учен. зап. МГПИ.* М., 1941. Вып. 1. Т. V.
- Стеблин-Каменский 1953: *Стеблин-Каменский М. И.* История скандинавских языков. М.-Л., 1953.
- Стойков 1962: *Стойков Ст.* Българска диалектология. София, 1962.
- Шахматов 1941: *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941.
- Jakobson 1962: *Jakobson R.* К характеристике евразийского языкового союза // *Jakobson R. Selected Writings. I. Phonological Studies.* 'S-Gravenhage, 1962.
- Sandfeld 1930: *Sandfeld Kr.* Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, 1930.
- Ślawski 1946: *Ślawski Fr.* Miejsce enklitiki odmiennej w dziejach języka bułgarskiego. Kraków, 1946.

Stojkov 1969: *Stojkov St. Trois formes de la détermination en bulgare // Revue des études slaves. Paris, 1969. T. 48.*

Wissemann 1939: *Wissemann H. Syntax der nominalen Determination im Großrussischen. Leipzig, 1939.*

*А. С. НОВИКОВА*

**Древнерусские списки Евангелия –  
драгоценная сокровищница сведений  
по истории преславской редакции библейских книг**

Малоизученные до настоящего времени в лингвистическом отношении древнерусские списки Евангелия XI–XIV вв. – драгоценная сокровищница сведений по истории славянского перевода Евангелия. При ограниченном количестве сохранившихся среднеболгарских рукописей эти списки являются, в частности, важным источником знаний о Преславской книжной школе.

Редактированием текстов в Преславе в эпоху царя Симеона можно объяснить большое количество языковых (и, в особенности, лексических) различий в старославянских и среднеболгарских Евангелиях, а также немало соответствий между частью среднеболгарских евангельских текстов (например, Добромировым, Баницким, Тырновским 1273 г., Воскресенским<sup>1</sup> XIV в. [Воскр<sup>1</sup>]) и древнерусскими полными апракосами XII в., а также древнерусскими тетрами Галичским евангелием 1144 г., Зарайским евангелием (Рум 118), Константинопольским евангелием 1385 г., евангелием 2 Bg 42 МГУ XIV в. и др.

В древнерусских списках Евангелия, по мнению М. Н. Сперанского, нашли отражение три восточноболгарские редакции Евангелия в эпоху царя Симеона. Первая, распространенная на Руси во главе с Остромировым евангелием, вторая – во главе с Галичским евангелием 1144 г. Одновременно с ними, еще сохранявшими свое значение на Руси, начинает пробиваться новая восточноболгарская (третья) группа, тоже связанная в Болгарии со второй. Старшим по чтению (а не по списку) этой редакции является Тырновское евангелие 1273 г. На Руси третья восточноболгарская редакция (в работах Г. А. Воскресенского она именуется второй древнерусской) распространяется в списках особого рода – древнерусских полных апракосах [Сперанский 1899: 76, 79].

Идея М. Н. Сперанского о группировке рукописей по сходству в языковом и текстологическом отношении представляется правильной.



Однако вряд ли целесообразно рассматривать группы рукописей как отдельные редакции (если под редакцией понимать исправление текста на всех языковых уровнях). По существу следует говорить о неоднородных списках Евангелия, восходящих к разным протографам, созданным в Преславской книжной школе. Мысль М. Н. Сперанского о развитии преславской редакции Евангелия на русской почве подтверждается материалом нашего исследования. Следы преславской редакции хорошо отражены в древнерусских евангелиях тетр Галич, 2 Bg 42 МГУ, Конст 1383 г.

Древнерусские полные апракосы, написанные на Руси в разных ее областях (преимущественно в Галицко-Волынской и Новгородской), дают яркое представление о фонетических и других языковых особенностях древнерусского языка. Но поскольку они создавались на основе протографов нового типа, составленных в Преславской книжной школе, в них содержатся очень важные сведения по истории преславской редакции библейских книг, и, в частности, Евангелия. Фактический материал древнерусских списков Евангелия позволяет судить о той огромной редакционной работе, которая была проделана в Преславском книжном центре по замене грецизмов и устаревших слов кирилло-мефодиевского перевода словами восточноболгарского ареала или созданными в среде местных книжников. Проведенный нами лингвотекстологический анализ ряда древнерусских полных апракосов и болгарского Евангелия XIV в. Воскр<sup>1</sup> показывает, что обследованные тексты восходят к разным спискам одного протографа, архетип которого несомненно создан в Преславской книжной школе.

Некоторые примеры.

**съкровицьнок хранилице — газофилакит : γαζοφυλάκιον**

Преславский заменитель грецизма наблюдается в древнерусских полных апракосах 2 Bg 42 МГУ, Рум 110, Конст в чтении Мк 12,41 и Мк 12,43. В чтении Л 21,1 преславизм употребляется в Галич. Словосочетание **съкровицьнок хранилице** известно также болгарским спискам Евангелия Воскр<sup>1</sup>, Крак, № 184 НБКМ и сербскому Хлуд 20. В древнерусских списках Евангелия зафиксированы и другие преславские заменители грецизма **газофилакит**: Мк 12,41 и 43 **сокровнице имѣннѣ** Рум 118 (ср. **кровнице имѣннѣ** в Тырн); Л 21,1 **храмъ набѣдѣннѣ имѣннѣ** Юрьевск, 2 Bg 42 МГУ (то же в Воскр<sup>1</sup> и Крак).

**опона храма вожня — катапетазма : καταπέτασμα**

Преславский заменитель наблюдается в ЕвМст и ряде других древнерусских полных апракосах в чтении Мк 15,38 [Воскресенский 1894: 390].

**потъченик кжць — скинопигия : σκηνοπηγία**

Преславский заменитель грецизма наблюдается в чтении И 7,2 в Юрьевск, Конст, 2 Вг 42 МГУ; то же в Воскр<sup>1</sup>, Крак, № 184 НБКМ; в Изб 1073 — **потъченик коуштъное**.

**пръвосвациеньникъ — архнерен : ἀρχιερεὺς**

Преславский заменитель грецизма зафиксирован в Галич и 2 Вг 42 МГУ в чтении Мт 2,4 и в Конст в Мт 21,15. Лексема **пръвосвациеньникъ** неокказионально употребляется в 26 чтениях (Мт — 11 раз, Мк — 9 раз, Л — 4 раза, И — 2 раза) в болгарском Воскр<sup>1</sup> [Новикова 1988: 70].

**благодарити — хвалж въздати : εὐχαριστεῖν**

Преславизм — в Галич в 5 чтениях: Мт 26,26; Л 17,16; Л 22,19; И 6,11; И 6,23. То же в Воскр<sup>1</sup> в 5 чтениях: Мт 15,36; Мк 14,22; Мк 8,6; Л 22,17; Л 22,19. Лексема **благодарити** есть также в Крак и в № 1140 НБКМ, а также в евангельской цитате И 11,41 в Супр (309,7; 309,12; 316,29 и 517,19): **благодарж ти отъче јако слыша мене; ср. в Зогр: оѹе хвалж тебѣ въздаж . ѣко оуслыша ма.** В чтении Мк 8,6 словосочетанию **хвалж въздати** в древнерусских полных апракосах соответствует преславизм **благохвалити: и примъж . ѡ . тоу хлѣбѣ благохвалитъ преломи...** [Воскресенский 1894: 232].

**витаљница — обитѣль : κατάλυμα**

Преславизм **витаљница** отмечен нами в чтениях Мк 14,14 в Конст (то же в болг.-сербск. четвероевангелии Хлуд 16) и Л 22,11 в полных апракосах 2 Вг 45 МГУ, Юрьевск, Добрил, Симон, ЕвМст (то же в Вук). Однокоренная лексема **витательница** в Мк 14,14 отмечена Г. А. Воскресенским в списках Б 39 и Б 55 [Воскресенский 1894: 351].

**въгодик, оугодик — похоть : τὸ ἱκανόν**

На месте **похоть** (Мар, Зогр) в тетровом чтении Нового Лета Мк 15,15 в большинстве списков второй редакции Г. А. Воскресенского находим лексему **въгодик** (то же в Воскр<sup>1</sup>). В этом чтении в 2 Вг 45 МГУ и в 5 списках, исследованных Г. А. Воскресенским — **оугодик** [Воскресенский 1894: 378] (ср. Добром — **оугодне**). Однокоренные лексемы **въгодити, въгаждати, въгодънь, въгодъникъ, въгажданик** представлены в Супр (их греческие соответствия разнообразны). В Галич, Вук в указанном чтении — **вола**.

**лѣвница — шюнца : ἡ ἀριστερά**

Лексема **лѣвница** отмечена нами в ЕвМст в чтении Мт 6,3. Она есть также в Воскр<sup>1</sup> и Вук.

**невѣстникъ – жени са – женихъ : νυμφίος**

**невѣстникъ** – в Мт 9,15 ЕвМст, 2 Вг 45 МГУ (то же в болгарском тетроевангелии Увар 480). **жени са** – в Мк 2,19; Мт 2,20; Л 5,34 в ЕвМст, 2 Вг 45 МГУ, Рум 118 (то же в Тырн). Например: **дондеже жени са ксть съ ними . сътворити алкати.** – Л 5,34 ЕвМст 73<sup>1</sup>. Ср. в Зогр: **дондеже женихъ естъ съ ними сътворити постити са.**

Для древнерусских полных апракосов характерно увеличение количества лексем **вѣлѣсти, сълѣсти, излѣсти** вместо **вѣннити, съннити** в тетровых чтениях (особенно в цикле от Пятидесятницы до Нового Лета – Матфей, Марк), что свидетельствует о близости некоторых из них преславскому оригиналу евангельского текста. Ср. Мк 13,15: **ни да вѣлѣзеть** – 2 Вг 45 МГУ, большинство списков 2-ой редакции Г. А. Воскресенского [Воскресенский 1894: 334] (в Мар, Зогр – **ни да вѣнндетъ**).

Влияние Преславской школы письменности ощутимо не только в предпочтении одних лексем другим, но и в использовании определенных словообразовательных моделей, а именно, стремление болгарских книжников к увеличению переводной конструкции отражается в замене отдельных словосочетаний целым словом. Преславизмы **вѣслѣднати, вѣслѣдовати, вѣслѣдствовати, послѣдовати, послѣдствовати** вм. **ити (грасти) по комъ, въ слѣдъ** широко употребительны в древнерусских списках Евангелия XI–XIV вв.

Ср. Л 1,3: **изволи и мнѣ вѣслѣдовавшю съвыше** – ЕвМст; **послѣдствовавшю выше** – 2 Вг 42 МГУ (то же в Воскр<sup>1</sup>); но в Мар и Зогр – **хождъшю по всѣхъ**.

Большой интерес представляют зафиксированные в древнерусских списках Евангелия так называемые вторичные грецизмы, т. е. грецизмы некнижного происхождения, возникшие непосредственно в живой речи в результате культурного общения: **алекторъ** в Галич и 2 Вг 42 МГУ (Мк 14,68; И 13,38) вм. **коуръ**. Эта лексема наблюдается также в ряде среднеболгарских рукописей [Коссек 1984: 59] и Воскр<sup>1</sup>. **гета** в Изб 1073, **иота** в Остр, **игета** в Галич (греч. **ἰώτα** – Мт 5,18) вм. **писма**. **Игета** также в болг. Дечанском евангелии и в сербск. Мирославом. Поскольку вторичную грецизацию текста, а также более тщательный перевод грецизмов мы обнаруживаем в памятниках с чертами Преславской книжной школы, можно предположить, что в Преславе происходила правка

древнего текста не только в направлении замены гречизмов славянскими словами, но и в обратном: стремясь более точно передать греческий оригинал, а также придать подобающее слогу богослужебного текста *величие*, редакторы вводили в текст славянского Евангелия новые, не известные ему греческие лексемы.

Часть лексем, широко употребляемых в древнерусских полных апракосах и в ряде древнерусских тетров и отсутствующих в старославянских и среднеболгарских евангельских кодексах, можно только условно назвать преславизмами. Методика их определения представляет известные трудности. При решении этого вопроса важно привлекать лексические данные памятников других жанров (в частности, Супрасльской рукописи, списков Апостола второй редакции Воскресенского и оригинальных сочинений писателей эпохи царя Симеона: Константина Преславского, Иоанна Экзарха Болгарского, пресвитера Козьмы). Необходимо изучать лексические особенности живых славянских диалектов, привлекать данные сравнительно-исторической диалектологии славянских языков. “Условные” преславизмы могли проникнуть в тетровые и апракосные чтения древнерусских полных апракосов из разных списков недошедших до нас протографов евангельского текста, составленных в Преславской книжной школе, которые были принесены на Русь после ее Крещения. Особенно показателен материал евангельских чтений Супрасльской рукописи, где, как бы в скрытом виде (эта мысль неоднократно высказывалась в работах Р. М. Цейтлин и подтверждается нашим исследованием), представлена преславская редакция Евангелия.

Некоторые примеры.

**положити нма** — **нареци нма** : καλεῖν τὸ ὄνομα

Преславизм зафиксирован нами в чтении Мк 3,16–17 в рукописи 2 Вг 42 МГУ. Он характерен для большинства древнерусских рукописей, обследованных Г. А. Воскресенским. Словосочетание **положити нма** встречается также в Супр (противж твокмоу нравоу н нма твок положен<sup>о</sup> бгысть — Супр 71,17).

**прѣзорьство** — **грѣдыни** : ὑπερφανία

Преславизм употреблен в 50 списках 2-ой редакции Воскресенского и в рукописи 2 Вг 45 МГУ (то же в Воскр<sup>1</sup>). В Остр, Галич, Тырн находим **прѣзорь**. В соответствии с греч. ὑπερφανία, θράσος **прѣзорьство** употребляется и в Супр.

В тетровом чтении Мк 2,21 в древнерусских полных апракосах 2 Вг 45 МГУ, Увар 293, ЕвМст и большинстве списков, обследован-

ных Г. А. Воскресенским, употребляется лексема **оуѣтлизна** *вм.* **дира** первоначального перевода, которую можно рассматривать как предполагаемый преславизм на том основании, что в Супр есть **жтль**, а **оуѣтлын** в значении 'худой, со скважинами' – в Изб 1073.

В Евангелии от Матфея (11,17) в 2 Bg 45 МГУ, ЕвМст и Симон находим интересную лексему **пипеловати** (греч. *αὐλεῖν*) **пипеловахомъ** и **не ппасасте** (в Мар **пискахомъ**, в Зогр **свирахомъ**). Она отсутствует в южнославянских списках Евангелия (известных нам), но встречается в сочинениях Иоанна Экзарха Болгарского и Григория Назианзина.

В соответствии с греч. *αὐλός* в чтении Мт 9,13 в ЕвМст, Юрьевск, 2 Bg 45 МГУ *вм.* **сопыць** или **свирыць** употреблено слово **пнциальникъ**. Лексему **пнциаль** находим в списках 2-ой редакции Апостола и памятниках других жанров [Пенев 1989: 269].

Греческой конструкции с родительным падежом *ἐν βιβλῶ ψαλμῶν* в тетровом чтении Нового Лета (Л 20,42) в 2 Bg 45 МГУ (л. 105) соответствует **въ кънигахъ пѣныхъ** *вм.* **въ кънигахъ пѣсалтъмьскыхъ** первоначального перевода. В. И. Срезневский указывает на употребление лексемы **пѣснь** на месте грецизма **псаломъ** в Чуд., а также **пѣснивецъ** на месте **псалтырь** в Нор [Срезневский 1878: 91]. Замену грецизма **пѣсалтъмъ** на **пѣснь** считают отличительной чертой преславской редакции богослужебных книг П. Пенев и И. Добрев [Пенев 1989: 306; Добрев 1984: 60].

К числу "условных" преславизмов можно отнести также лексемы **заоушнти** *вм.* **за ланитоу** (**ж**)**оударити**, **страна** *вм.* **языкъ** в значении 'народ', 'языческий народ', **оноушта** *вм.* **сапогъ**, а также лексический эквивалент грецизма **матизмъ** – **вѣрхнага риза** (гапакс ЕвАрх).

В древнерусских списках Евангелия хорошо отражены особенности преславской редакции и в области синтаксиса. В частности, здесь ярко прослеживается тенденция к увеличению числа деноминативных прилагательных в качестве определяющего члена приименных конструкций *вм.* родительного падежа и других синтаксических конструкций. Ср.: Мт 10,30: **власи главьнии** в 2 Bg 42 МГУ *вм.* **власи главты** в Мар и Зогр; Мк 14,27: **разыдуть са овца стадныа** в 2 Bg 42 МГУ *вм.* **овца развѣгнжтъ са** в Мар и Зогр; Мк 3,22: **владкою вѣсовьскимъ изгонитъ вѣсы** – списки 2-ой редакции Воскресенского [Воскресенский 1894: 138] *вм.* **о кънази вѣсъ** в Мар и Зогр.

К числу синтаксических особенностей преславской редакции

Евангелия следует отнести замену сочетания **въ истинѣ**, являвшегося для писцов канонических текстов своего рода литературным штампом, конструкцией **по истинѣ** (Мт 22,16; Мк 11,32; Мк 14,70; Л 4,25) в древнерусских полных апракосах и некоторых южнославянских списках Евангелия. Ср. Мт 22,16: **поўти вѣжю по истинѣ оучиши** – ЕвМст, Юрьевск, Тип.нед, Добром, Симон [Амфилохий: 358], Егор, Синод 69, Воскр<sup>3</sup>, Увар 293, 2 Вг 45 МГУ. Так же в трех среднеболгарских списках Евангелия тетр – Тырн, Воскр<sup>1</sup>, Хлуд 31 и сербск. Хлуд 11. Конструкция **по истинѣ** наблюдается также в Супр и в сочинениях Козьмы Пресвитера.

Тетровые чтения древнерусских полных апракосов последовательно сближаются с болгарскими рукописями, имеющими черты правки в Преславе. Характер краткоапракосных чтений в древнерусских полных апракосах более разнообразен, хотя и здесь зафиксирован значительный пласт преславизмов (они наблюдаются даже в чтениях Страстной недели). Проведенный нами анализ краткоапракосных чтений Мстиславова евангелия позволяет, в частности, заключить: а) грецизму **архьерен** в субботних и воскресных чтениях соответствует преславское словосочетание **старѣшина жрьчьскъ** в 2 случаях из 5; на Страстной неделе – в 2-х из 57; в чтениях от Пасхи до Троицы и на Страстной неделе употребляется только грецизм; б) грецизму **аминь** в субботних и воскресных чтениях соответствует преславизм **право** в 11 случаях из 19; в чтениях от Пасхи до Троицы и на Страстной неделе употребляется только грецизм; в) греческому **συκῆ** – кирилло-мефодиевскому **смокъвьница** – в субботних и воскресных чтениях соответствует преславизм **гагодичина**; в чтениях от Пасхи до Троицы и на Страстной неделе – лексемы **смокъвьница**, **смокъвик**.

В большинстве случаев отмечается близость Мстиславова евангелия к Остромирову евангелию, которое, по мнению многих исследователей, было списано с восточноболгарского оригинала, и к Зографскому, отличающемуся значительным пластом восточноболгаризмов в лексике. Вряд ли можно объяснить возникновение такого сходства случайностью, так как оно выдерживается на протяжении всего анализируемого цикла. Особенно показателен материал повторяющихся чтений в древнерусских полных апракосах на Страстной седмице: лексемы первичного перевода, обычно сохраняющиеся в чтениях на литургии, в тех же местах на заутрени и в страстных евангелиях заменены преславизмами (данные рукописи 2 Вг 45 МГУ; в ЕвМст и ЕвАрх возможны преславизмы и в чтениях Страстной

литургии). Ср., Мт 26,67: **ови же заоушиша его** – чт. Стр. лит. ЕвМст 1146, ЕвАрх 970б; 3 Стр. ев. **ови же за ланитоу оудариша юго** ЕвМст 151а, ЕвАрх 1020б.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего лингвотекстологического изучения древнерусских списков Евангелия. Такая работа имеет перспективу: чем более широкий круг памятников будет вовлекаться в орбиту исследования, тем более достоверные результаты по истории славянского перевода Евангелия, его эволюции в Преславской книжной школе могут быть получены.

## ЛИТЕРАТУРА

Амфилохий: *Архим. Амфилохий*. Четвероевангелие Галичское 1144 г., сличенное с древлеславянскими рукописными евангелиями XI–XVII вв. и печатными: Острожским 1571 г. и Киевским 1788 г., с греческим евангельским текстом 835 г. М., 1882. Т. I.

Воскресенский 1894: *Воскресенский Г. А.* Евангелие от Марка. Сергиев-Посад, 1894.

Добрев 1984: *Добрев И.* Апостолските цитати в Беседата на Презвитер Козма и преславската редакция на Кирило-Методиевия превод на Апостола // Кирило-Методиевски студии. София, 1984. Кн. 1.

Коссек 1984: *Коссек Н. В.* О лексике среднеболгарских евангелий // *Palaebulgarica*. 1984, № 3.

Новикова 1988: *Новикова А. С.* Некоторые наблюдения над лексикой Воскресенского I Евангелия // *Palaebulgarica*. 1988, № 3.

Пенев 1989: *Пенев П.* Към историята на Кирило-Методиевия старобългарски превод на Апостола // Кирило-Методиевски студии. София, 1989. Кн. 6.

Сперанский 1899: *Сперанский М. Н.* Рецензия на труды Г. А. Воскресенского // Записки Импер. Академии наук. 1899. Т. 5.

Срезневский 1878: *Срезневский В. И.* Древний славянский перевод Псалтыри. СПб., 1878. Ч. 2.

## РУКОПИСИ

*Государственный исторический музей (ГИМ), Москва*

Древнерусские:

Синод 69 – Синодальное евангелие 1358 г. (полный апракос)

Увар 293 – Уварово евангелие XIV в. (полный апракос)

Воскр<sup>3</sup> – Воскресенское евангелие начала XV в. (полный апракос)

Конст – Константинопольское евангелие 1383 г. (тетр)

Болгарские четвероевангелия XIV в.:

Воскр<sup>1</sup> – Воскресенское евангелие

Увар 480 – евангелие Уварова

Хлуд 31 – евангелие Хлудова

Хлуд 16 – евангелие Хлудова (болг.-сербск.)

Сербские евангелия тетры XIV в.:

Хлуд 11 – евангелие Хлудова

Хлуд 20 – евангелие Хлудова

*Российская государственная библиотека, Москва*

Древнерусские:

Рум 110 – Румянцевское евангелие (полный апракос XIV в.)

Рум 118 – Румянцевское евангелие (тетр 1401 г.)

Егор – евангелие Егорова (краткий апракос XIII в.)

*Научная библиотека им. А. М. Горького*

*МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва*

Древнерусские:

2 Вг 45 МГУ – евангелие полный апракос XIV в.

2 Вг 42 МГУ – евангелие тетр XIV в.

*Народная библиотека им. Кирилла и Мефодия (НБКМ), София*

№ 184 НБКМ – евангелие тетр, болгарское с сербизмами, XIII–XIV вв.

№ 1140 НБКМ – евангелие тетр, болг.-сербск., XV в.

*Цитаты по указ. соч. архим. Амфилохия:*

Добрил – Добролюво евангелие 1164 г.

Симон – Симоновское евангелие 1270 г.

Тип.нед – Синодальное типографское недельное евангелие XII в.

Юрьевск – Юрьевское евангелие 1118–1128 гг.

*Цитаты из работы М. Вронковской “Наблюдения над лексикой*

*Краковского Евангелия” (Palaeobulgarica. 1985, № 3):*

Крак – Краковское евангелие.

**А. А. ПИЧХАДЗЕ**

### **Несколько редких древнеболгарских слов в древнейшем переводе “Повести о Варлааме и Иоасафе”**

В исследовании, опирающемся на обстоятельный анализ рукописного материала, И. Н. Лебедева установила существование двух переводов “Повести о Варлааме и Иоасафе”: древнейшего, который И. Н. Лебедева назвала древнерусским, – поскольку он сохранился почти исключительно в русских списках и отрывки из него вошли в состав Пролога первой редакции (старейший список XIII в.), – и более позднего, предположительно сербского [Лебедева 1985: 59–74]. Однако включение в Пролог и отсутствие южнославянских списков памятника еще не является достаточным аргументом в пользу создания перевода в Древней Руси. Анализ лексики “Повести” также не дает однозначного ответа на вопрос о происхождении памятника.



В древнейшем переводе “Повести” обнаруживается несколько несомненных русизмов: **кънорозъ** ‘кабан’ [Лебедева 1985: 220], **скотьница** ‘сокровищница’ [Лебедева 1985: 174], **волога** ‘вид кушанья’ [Лебедева 1985: 178]. Примечательно последнее слово, которое употреблено в переводе цитаты из Апостола (Рим 6,23) – **волога грѣховная смерть** – в соответствии с греческим  $\tau\acute{\alpha} \delta\psi\acute{\omega}\nu\iota\alpha$  ‘плата, возмездие’. Это греческое слово образовано на базе сложения основ существительного  $\delta\psi\omicron\nu$  ‘приварок, приправа, закуска, лакомое блюдо’ и глагола  $\acute{\omega}\nu\epsilon\omega$  ‘покупать’. Судя по указателю [Лебедева 1988: 31], вместо  $\delta\psi\acute{\omega}\nu\iota\alpha$  переводчик читал  $\delta\psi\acute{\omega}\nu\iota\alpha$  (уменьшительное к  $\delta\psi\omicron\nu$ ), для которого он нашел точный древнерусский эквивалент – ср. русское диалектное *волóга* [Даль I: 234], имеющее те же значения, что и греческое  $\delta\psi\omicron\nu$ . Очевидно, что слово **волога** мог употребить только переводчик, но не позднейший редактор. Следовательно, русизмы в “Повести о Варлааме и Иоасафе” исконны, а не привнесены в текст вторично. К их числу, вероятно, следует отнести и **скъльзнуѡти**, **скокълзновеныи** [Лебедева 1988: 155] и **колзаник** [Лебедева 1985: 161]: континуанты этого корня в болгарском неизвестны, а из церковнославянских памятников они фиксируются только в Хронике Георгия Амартола, Пандектах Никона Черногорца и Пчеле.

Однако в “Повести о Варлааме и Иоасафе” немало слов, зафиксированных только в южнославянских переводах.

Прежде всего, обращает на себя внимание довольно активное использование наречия **бъшню** ‘совершенно’ ([Лебедева 1988: 21] – всего 13 фиксаций). Русским писцам это слово было плохо известно, поэтому они заменяли его на **болшню**, **болшюю**, а редакторы – на **отнудь** [Лебедева 1985: 119–120 и др.]. В древнерусских оригинальных сочинениях **бъшню** и его словообразовательный синоним **бъхъма** не встречаются, а в переводной письменности многократно фиксируются в памятниках болгарского происхождения (Псалтыри с Толкованиями Феодорита Киррского, Слове Афанасия Александрийского на ариан и др.) и в памятниках, где наряду с русизмами отмечаются и болгаризмы (Хронике Георгия Амартола, Толкованиях Никиты Ираклийского на 16 слов Григория Богослова; ср. **бъкъмь** в Студийском Уставе XII–XIII вв.) [СДР I: 331, 350–351; Срезн. I: 201].

Несколько раз в “Повести о Варлааме и Иоасафе” употребляется существительное **тимѣник**, обозначающее грязь (чаще в переносном смысле) и Тартар эллинов-язычников [Лебедева 1988: 172]. Это

существительное встречается в старославянских памятниках – Синайской Псалтыри и Синайском евхологии, в Апостоле [SJS 43: 456] и в более поздних болгарских переводах – Житии Нифонта, Житии Марии Египетской, а также в Хронике Георгия Амартола, Прологе, Златоусте XVI в. [Срезн. III: 959], Огласительных поучениях Феодора Студита и в Троицком сборнике XII–XIII вв. – в слове Иоанна Златоуста из Андриатиса и в Повести преп. Архипа пустынника, парамонаря храма арх. Михаила в Хонех [Картотека СДР]. Контексты, содержащие это слово, часто представляют собой аллюзию на 22-ой стих 2-ой главы 2-го Послания апостола Петра: **свинниа измывшиса въ калѣ тимѣниѣ** – так в Слеченском Апостоле, в Христинопольском апостоле восточнославянского извода **тимѣниѣ** заменено на **тинѣнѣ** [SJS IV: 456]. Аллюзию на это место находим и в “Повести о Варлааме и Иоасафе”: **яко свинниа, кꙋплющися и валяющися въ смрадномѣ тимени** [Лебедева 1985: 187]). Из русских оригинальных текстов И. И. Срезневский цитирует только послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь: **ꙋглубохъ въ тимѣни блꙋднѣмъ** – парафраз начала 68-го Псалма, ср. в Синайской Псалтыри: **оꙋглубѣ въ тимѣни глѣбинѣ** [SJS IV: 456]. Видимо, в текстах восточнославянского происхождения **тимѣни** могло изредка появляться в качестве церковнославянизма, прежде всего в аллюзиях на текст Псалтыри и Апостола. В “Повести о Варлааме и Иоасафе” это слово употребляется 6 раз – довольно высокий показатель на фоне полного отсутствия в памятнике синонимичного **калѣ**, широко распространенного в текстах восточнославянского происхождения.

Из слов, используемых в “Повести о Варлааме и Иоасафе” и отмеченных только в южнославянских текстах, можно указать на **завадити** (колесъницу) ‘вернуть назад’, **замꙋжати** ‘медлить’, **замꙋженне** ‘промедление’, **простыни** ‘прощение’, **ꙋкроме** ‘край’, **ꙋкромьныи** ‘очень сильный’, **чисма** ‘число’ (две фиксации, преобладает **число** – 18 раз).

По-видимому, болгаризмами следует признать еще несколько слов, слабо зафиксированных в древнеславянской письменности. В “Повести о Варлааме и Иоасафе” говорится об истуканах, отлитых из металла: **Нарицаеша бога, егоже преже замала видѣ желѣзомъ внемъ и огнемъ горны лествованъ... Ибо каменный разрушится, скꙋдельный же расплвется, деревянный тлится, медяныя погыбають, златый и сребро горны лъстꙋетъся** (sic!) [Лебедева 1985: 238]. Словоделение в издании ошибочно: на самом деле в тексте фигурирует

причастие **гърныльствованъ** и форма настоящего времени **гърныльствується** от глагола **гърныльствовати(ся)** ‘отливать(ся) в печи’, производного от существительного м. р. **гърныль** ‘горнило’. Это существительное засвидетельствовано исключительно в памятниках древнеболгарского происхождения: в кирилло-мефодиевском переводе книг Премудростей Иисуса сына Сирахова и пророка Захарии в составе Паримейника [SJS I: 440], а также в Пандектах Антиоха XI в. [Срезн. I: 616], Псалтыри с Толкованиями Афанасия Александрийского, Лествице Иоанна Лествичника, Постнических словах Исаака Сирина и в Прологе [Miklosich: 146]. Глагол **гърныльствовати**, помимо “Повести о Варлааме и Иоасафе”, зафиксирован только в Хронике Георгия Амартола, – правда, в искаженном виде, поскольку был непонятен позднейшим переписчикам (в [СДР II: 411] **гърнольствовати**).

Еще одно редкое слово в древнейшем переводе “Повести о Варлааме и Иоасафе” – название колючего растения **котыник** (**ἄκανθα**): **во всяком котынии впадаетъ, нигдѣже обретається прнѣжища тверда** [Лебедева 1985: 165], **котыние.. и вълчци** [Лебедева 1985: 166]. В других местах **ἄκανθα** переводится как **търник** [Лебедева 1988: 172]. Существительное **котыник** употребляется в Хронике Георгия Амартола для обозначения бобового растения **ѳрофос** (гороха): **котыникъ срамъ водоточныи затыкахоу** [СДР IV: 277]. В описании этой пытки в древнерусском переводе “Истории Иудейской войны” Иосифа Флавия **ѳрофос** переведено как **зерна ривифина: точаще зерна ривифина в танныи оудъ** [Истрин II: 114]. В Чудовской Псалтыри с Толкованиями Феодорита Киррского (болгарский перевод X в., список XV в.) **котыник** соответствует греческому **ῥόζινος** ‘крушиновидный терн’ [Погорелов 1910: 89]. Это же слово фигурирует в Повести о мучении Св. Артемия: **Повелѣ же ѹбо изнажити мѹченика и рожны желѣзными раж’женными проводати и хреветъ его котыниемъ (τριβόλις) острымъ кости** [ВМЧ Окт. 19–31: 1613]. Толкование ‘жест, посох’ в [СлРЯ 7: 381] ни на чем не основано: греческое **τριβόλος** обозначает ость, колючку, колючее растение – терн и т. п. Трудно установить, где была переведена Повесть о мучении Св. Артемия: в тексте встречаются как болгаризмы (**вѣшню, свѣтилица намашлена**), так и русизмы (**гридѣствѣа, рек’ше люб’ве**).

Глагол **ѹнырити** ‘присвоить, похитить, украсть’, употребленный в “Повести о Варлааме и Иоасафе” 6 раз [Лебедева 1988: 181], пока

не зафиксирован словарями. В Картотеке СДР он отсутствует. Правда, в Хронике Георгия Амартола дважды употреблено существительное **оуныреник** 'обман, хитрость', производное от этого глагола; в греческом оригинале ему соответствует (ἐπι)κλοπή 'воровство, кража; обман, хитрость'. Один раз встретилось в "Повести о Варлааме и Иоасафе" причастие **неуныримъ** 'такой, который не может быть украденъ': **скровище неуныримо** [Лебедева 1985: 167]. Те же значения имеет однокоренной глагол в другой ступени чередования и с другой приставкой: **изноуирити** означает 'похитить; ограбить' в Хронике Амартола [СДР IV: 53] и в Путятиной Минее XI в. (**неизноуиримо съкровиште**) [Срезн. I: 1072]. Поскольку текст Путятиной Минее несомненно болгарского происхождения, можно предположить, что болгаризмами являются и глаголы **оунырити** и **изноуирити** в значении 'похитить, украсть'.

Как можно заметить по приведенным данным, "Повесть о Варлааме и Иоасафе" в лексическом отношении чрезвычайно близка Хронике Георгия Амартола. Оба памятника сближает еще одна черта – наличие в лексике болгаризмов и русизмов. Есть основания утверждать, что русизмы в "Повести о Варлааме и Иоасафе" принадлежат переводчику. Что же касается болгаризмов, то можно было бы допустить, что такие распространенные в древнеболгарских текстах лексемы как **въшню** или **тимѣнне** были освоены древнерусским книжником и использованы при переводе. Однако трудно сделать аналогичное предположение для таких слов как **гърныльствовати** или **оунырити**, представленных в древнеславянских памятниках единичными фиксациями или вовсе не засвидетельствованных нигде, кроме "Повести о Варлааме и Иоасафе". Приходится признать, что и эти слова болгарского происхождения являются принадлежностью первоначального перевода и, следовательно, что болгарский язык был усвоен переводчиком не книжным (или, вернее, не только книжным) путем. Таким образом, остается предположить, что перевод выполнен либо носителем восточнославянского диалекта, хорошо знавшим живой болгарский язык, либо – что представляется более вероятным ввиду многочисленности и тематического разнообразия болгаризмов в тексте – носителем болгарского языка, освоившим в той или иной степени восточнославянский диалект, на котором говорили его потенциальные читатели, т. е. что памятник был переведен болгаринном в Древней Руси.

## ЛИТЕРАТУРА

ВМЧ Окт. 19–31: Великие Минеи-Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Октябрь. Дни 19–31. СПб., 1880.

Истрин П: *La prise de Jérusalem de Josèphe le Juif*. Par V. Istrin. Paris, 1934. Т. 2.

Лебедева 1985: Повесть о Варлааме и Иоасафе. Памятник древнерусской переводной литературы XI–XII вв. Подготовка текста, исследование и комментарий И. Н. Лебедевой. Л., 1985.

Лебедева 1988: Словоуказатель к тексту “Повести о Варлааме и Иоасафе”, памятнику древнерусской переводной литературы XI–XII вв. Составитель И. Н. Лебедева. Л., 1988.

Погорелов 1910: *Погорелов В.* Словарь к Толкованиям Феодорита Кирского на Псалтырь в древнеболгарском переводе. Варшава. 1910.

Л. Н. СМЕРНОВ

### Заметки по словацкой исторической лексикологии. 2.

Одним из аспектов изучения истории литературного языка является анализ динамики его словарного состава. Это предполагает исследование источников становления и пополнения лексики литературного языка, изучение как общих тенденций ее развития, так и эволюции отдельных слов и фразеологизмов, характерных семантических сдвигов в данной сфере языка и т. п.

В предлагаемых заметках мы продолжаем изучение лексики литературного словацкого языка на кульминационном этапе его формирования (середина XIX в.). Именно тогда в результате реформы Л. Штура и его соратников в общественно-культурную жизнь Словакии был введен новый вариант литературного словацкого языка (“штуровщина”). По замыслу Штура он должен был заменить и традиционный чешский литературный язык, который с XV в. использовался словаками (главным образом протестантского вероисповедания) в качестве письменного идиома, и первый вариант литературного словацкого языка, узаконенный в конце XVIII в. А. Бернолаком (“бернолаковщину”), который получил признание и распространение в среде словацких католиков (подробнее об этом см. [Смирнов 1978; Смирнов 1991]). Штуровцы прилагали серьезные усилия для развития словарного состава нового литературного

языка, хорошо понимая, что он не сможет успешно функционировать, если будет ограничен лексикой, бытовавшей в среднесловацких говорах, в языке народной словесности и в разговорной словацкой речи интердиалектного характера. Штур видел два основных способа расширения словарной базы молодого литературного языка: образование новых слов и заимствования. Оба способа находят отражение, в частности, в текстах издаваемой Штуром “Словацкой национальной газеты” с литературным приложением “Орел татранский”. Анализ этих текстовых источников – Slovenskje národňje novini (1845–1848). Reedícia. Bratislava, 1956 (SNN) и Orol Tatránski. Reedícia. Bratislava, 1956 (OT) – свидетельствует о том, что литературный словацкий язык активно обогащался новообразованиями, иностранными и местными диалектными словами. При этом для раскрытия или уточнения их лексического значения нередко осуществлялась так называемая “скобочная практика” (“zátvorková prax” [Horecký 1946–1948: 295]). Иначе говоря, использовался своеобразный внутритекстовый комментарий, даваемый в скобках вслед за объясняемым словом или словосочетанием, например: hláska (Laut), mjenka verejná (opinio publica), nedostatok (defectus), podobizeň (obraz), posádka (Garnison), učastinár (akcionár), ambassadeur (posol krajiinskí), deputácia (vislanstvo) и т. п.

В предшествующих наших статьях была показана роль иностранных слов (“европеизмов”) при реализации скобочной практики [Смирнов 1995], а также были подробно описаны различные конкретные приемы внутритекстового комментирования на примере некоторых лексико-семантических и тематических групп [Смирнов 1998; Смирнов 1999]. В данной статье делаются наблюдения, касающиеся лексических заимствований из русского языка (русизмов).

На разных этапах истории литературного словацкого языка его словарный состав в той или иной мере пополнялся за счет русизмов. Изучение этого вопроса имеет длительную традицию (см., например [Czambel 1887; Vobek 1935; Лосева 1960; Кондрашов 1964; Рупосова 1970 и др.]). Уже на начальном этапе становления литературного языка в текстах на бернолаковщине встречались отдельные русизмы, в частности в поэтических произведениях Я. Голлого: prestol, žertva, žrec и др. [Soták 1982: 43]. В штуровский период число заимствований из русского языка заметно возросло, что было связано с усилением интереса словаков к русской культуре и литературе, к

русскому языку. Одним из проявлений такого интереса был опыт создания сопоставительной грамматики русского и словацкого языков, предпринятый молодым штуровцем М. Догнани [Dohnány 1851]. Однако особенно широко русизмы представлены в литературных словацких текстах второй половины XIX в. [Рупосова 1970: 10].

Судьба русизмов в литературном словацком языке была различной: одни из них были освоены словацким языком, прочно вошли в его лексико-семантическую систему и фиксируются современными словарями словацкого языка; другие не удержались в словацком языке и не отмечаются современными словацкими словарями. Это в полном мере относится к русизмам, которые зафиксированы нами в указанных текстах штуровского периода. Как и другие иностранные слова, они сопровождались разного рода пояснениями. Покажем это на нескольких примерах.

К группе заимствований, которые удержались в словацком литературном языке, относятся следующие русизмы:

Čaj: Medzitím sa mu dá čaj (thea) pit', abi sa lepšie znojia (OT, 664). 'Между тем ему дают пить чай, чтобы от лучше потел'. Этот русизм [Рупосова 1970: 8], значение которого в словацком тексте середины XIX в. еще нуждалось в раскрытии (в данном случае при помощи иностранного слова), в дальнейшем был освоен словацким языком. Он употребляется до настоящего времени, ср.: pit', poríjat' čaj 'пить, распивать чай', obchod s čajom 'торговля чаем', podávať čaj 'угощать чаем' и т. п. *Slovník slovenského jazyka* (SSJ) приводит его без пометы [rus.].

Ikonostas: Pred ikonostasom (oltárom obrázkovým)... dávau požehnať junákom velební kňaz (OT, 361). 'Перед иконостасом степенный священник благословлял юношей'. Приводимое в скобках толкование ("алтарь с иконками") не совсем точно передает значение заимствованного слова – ср. определение, даваемое в современном словаре: "drevená stena s ikonami v pravoslavnom chráme, oddel'ujúca oltár od strednej časti chrámu" (SSJ).

Letopisec: Starožitní letopisec (chronista, vpravuvateľ pametných prŕbehov po rokoch) Slovanskí Nestor o tomto <...> takto rozpráva (OT, 34). 'Древний славянский летописец об этом повествует следующим образом'. Здесь для раскрытия значения русизма наряду с иностранным эквивалентом дается развернутое толкование "рассказчик памятных событий по годам". В литературе обычно отмечается, что слово *letopisec* заимствовано словацким языком через посредство

чешского. При этом указывается, что оно представлено в известном словаре Й. Юнгмана (J. Jungmann. Slovník česko-německý. Praha, 1835–1839). Примечательно, однако, что еще раньше синонимические образования *letopisáč* и *letopisník* с латинскими эквивалентами *annalista*, *chronista* были зафиксированы в “Словаре” А. Бернолака (A. Bernolák. Slovník Slowenský, Česko-Lat'insko-Německo-Uherský. Budae, 1825–1827. D. I–VI). В современном словацком литературном языке слово *letopisec* (в SSJ оно приводится без пометы [rus.]) употребляется наряду с другим освоенным иностранным словом – *kronikár*.

**Majak:** ...že sú iba jed'inge spolki strzljivost'i ten majak (pharus, veža, ktorá na brehu morskem vistavená a svetlom v noci zaopatrená lod'am slúži na znak, že sú ňed'aleko zeme), ktorí topjacim sa ňemjer'nikom <...> zasvjet'it' muože, abi sa dostali do prístavu bezpečnost'i (OT, 379–380). ‘...что только общества трезвости являются тем маяком, который может неумеренно пьющим осветить путь к безопасной пристани’. Для раскрытия значения заимствованного из русского языка слова, которое употреблено в качестве метафоры, также используются два приема: в скобках приводится латинский эквивалент *pharus* ‘маяк’ и дается развернутое толкование – “башня, которая построена на морском берегу и своим светом в ночи указывает кораблям, что они находятся недалеко от земли”. В современном словацком литературном языке русизм *maják* является вполне освоенным, в SSJ он фиксируется без соответствующей пометы.

**Žertva:** V tom ja chráme Bohu muojmu dušu svoju v žertvu\* dám (OT, 137). ‘...свою душу в жертву отдам’. Здесь применен другой прием объяснения русизма. Под звездочкой в сноске приводится словацкий эквивалент *obet'*. Данный русизм сохранился в словацком языке до настоящего времени, однако в отличие от словацкой лексемы он выступает как стилистически маркированное, книжное слово (в SSJ оно приводится с пометой [kniž.]).

Из русизмов, относящихся ко второй группе, отметим следующие:

**Manastir:** V manastire (kláštor) im jeden hodní Rusín Mokačovo odvodzuvau od “muka” (OT, 101). ‘В монастыре один достойный русин доказывал им, что Мукачево образовано от слова “мука”’. Значение русизма раскрывается при помощи словацкого эквивалента *kláštor*. В современном словацком языке данный русизм не употребляется (SSJ его не фиксирует). Он вытеснен старым заимствованным словом, которое, являясь по происхождению древневерхненемецким, уже давно адаптировано словацкой лексико-семантической системой.



**Obrok:** ...ale aňi panš'tinu odrábät' aňi tak rečen' obrok (panskú porciu) skladat' ňemaju (SSJ, 996). Речь идет о характерной русской реалии, говорится о тех крестьянах, которые не должны платить так называемый оброк. В данном случае русизм трактуется как "господская доля". Другой пример: Krikunov svoj obrok (dávki od sedliakov) š'tastlivo vibrau (OT, 668). 'Крикунов свой оброк успешно собрал'. Здесь дается несколько иное толкование – "сбор с крестьян". Отметим, что в словацком языке есть омонимичное слово obrok, которое имеет значение 'корм (зерно) для скота'.

**Popečiteľ** (в значении 'руководитель ведомства, министр'): Popečiteľja (ministri) sú za všetki svoje skutki zodpovední (OT, 724). 'Министры должны отвечать за все свои действия'. В современном словацком языке этот русизм не употребляется.

**Popečiteľstvo** (в значении 'ведомство, министерство'): Teraz naposledok zastávau úrad tajomníka pri popečiteľstve (ministerstve) osvet'i (OT, 686). 'Теперь под конец он занимал должность секретаря при министерстве просвещения'. Современными словацкими словарями данный русизм не фиксируется.

**Prímer** (в значении 'образец, пример'): Dopisi od p. farára Jána Hlovíka a Ludevíta Orphanidesa rad'ili základ na prímer (príklad, vzor) mat'ice Srbskej a Českej urobiť (SNN, 50). 'Письма <...> советовали основать общество по примеру Матицы Сербской и Чешской'; ...ked' si Vás bereme za prímer (príklad) (OT, 332). '...если мы Вас считаем образцом'. В приведенных цитатах русизм prímer соотносится со словацкими эквивалентами príklad и vzor. В конкуренции с ними он не удержался. Современные словацкие словари его не указывают.

**Stolica** (в значении 'главный город страны, столица'): V ten čas už bolo Rimskuo ránstvo na východňje a západňje úplňe rozd'eleno, a východňjeho stolica (metropolis, die Hauptstadt) bou Carhrad (Constantinopolis) (OT, 6). 'В то время Римская империя уже была разделена на восточное и западное государства, и столицей восточного был Царьград'. Данный пример интересен тем, что в этом случае нельзя говорить о заимствовании русского слова. Дело в том, что в словацком языке слово stolica существует давно, оно является многозначным ('скамья, стул'; 'инстанция'; 'комитет, жупа'; 'кафедра' и др.). Вероятно под влиянием русского языка в нем возникло

новое значение, аналогичное значению русского слова. Возможно это было окказиональное значение. Во всяком случае в современном словацком литературном языке слово *stolica* в этом значении не употребляется. Для этого служит словосочетание *hlavné mesto* или заимствованное слово *metropola*.

## ЛИТЕРАТУРА

Кондрашов 1964: *Кондрашов Н. А.* Русизмы в журнале "Словацкое обозрение" // Уч. зап. МОПИ им. Н. К. Крупской. М., 1964. Т. 148. Вып. 10.

Лосева 1960: *Лосева А. А.* Влияние русского языка на словацкую лексику во II половине XIX в. // НДВШ. Филологические науки. 1960. № 4.

Рупосова 1970: *Рупосова Л. П.* Русско-словацкие языковые связи (на материале словацкого литературного языка). Автореферат дисс. канд. филол. наук. М., 1970.

Смирнов 1978: *Смирнов Л. Н.* Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения (1780–1848) // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978.

Смирнов 1991: *Смирнов Л. Н.* О шутовской концепции литературного словацкого языка // *Studia Slavica*. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991.

Смирнов 1995: *Смирнов Л. Н.* О роли иностранных слов ("европеизмов") в развитии лексики шутовского литературного языка // *Slavica slovaca*. Bratislava, 1995. Čís. 2.

Смирнов 1998: *Смирнов Л. Н.* Заметки по словацкой исторической лексикологии // Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т. I.

Смирнов 1999: *Смирнов Л. Н.* Из наблюдений над лексикой литературного словацкого языка шутовского периода // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии и семантики. Слово в контексте культуры. М., 1999.

Bobek 1935: *Bobek W.* Rusizmy Vajanského // *Slovenská reč*. 1935. Seš. 4.

Czambel 1887: *Czambel S.* Príspevky k dejinám jazyka slovenského (глава: Ruské živly v literárnom jazyku slovenskom). Budapešt, 1887.

Dohnány 1851: *Dohnány M.* Porovnávaňja Rušt'ini so Slovenčinou // *Slovenske Pohladi*. 1851. D. II.

Horecký 1946–1948: *Horecký J.* K charakteristike štúrovského lexica // *Linguistica Slovaca*. Bratislava, 1946–1948. Roč. 4–6.

Soták 1982: *Soták M.* Kapitoly zo slovensko-ruských jazykových kontaktoŧ. Bratislava, 1982.

**О формах  
дательного-местного и родительного-винительного падежей  
местоимений с основой *теб-* или *себ-*  
в некоторых памятниках  
восточнославянской письменности раннего периода\***

В некоторых памятниках восточнославянской письменности раннего периода, не смешивающих букв *ѣ* и *е*, наряду с этимологически правильным употреблением этих букв в окончании Д.-М. и Р.-В. пп. встречаются случаи со взаимной меной форм: Д.-М. *тебе, себе* и Р.-В. *тебѣ, себѣ*. Интерес к этим написаниям проявляли А. И. Соболевский, А. А. Шахматов и Н. Н. Дурново. Но сколько-нибудь убедительного объяснения они до сих пор не получили. Так, А. И. Соболевский, справедливо заметив, что случаи с *е* вм. *ѣ* в Д.-М. пп. "встречаются так часто, что их, конечно, нельзя объяснить смешением *ѣ* и *е*", полагал, что в отмечающихся в Остромировом евангелии 1056–57 гг., в Минеех 1095–1097 гг., в Изборнике 1073 г. написаниях форм Д.-М. пп. с конечным *-е тебе, себе* якобы "сохранилось старое окончание М.п. (как в небесе)" и что "сами эти формы первоначально имели значение М.п., но очень рано получили значение также Д.п. [Соболевский 1907: 158]. В написаниях же Р.п. с *ѣ тебѣ, себѣ* в Остромировом евангелии, Архангельском евангелии 1092 г., Минее 1095–96 гг., Пандектах Антиоха XI в., в Юрьевском Евангелии ок. 1120 г., Кормчей XII в. (Ефремовской Кормчей), в Милятином евангелии 1213 г., Житии Нифонта 1219 г., в Пантелеймоновом евангелии XII/XIII вв. и Триоди Моисея Киянина XII–XIII вв. он увидел влияние именных форм, посчитав в них *-ѣ* взятым "из старых именных форм женского рода (в роде *душѣ*)" [Соболевский 1907: 186–187].

Если попытаться совместить эти два утверждения А. И. Соболевского, то вырисовывается маловероятная картина. А именно: *тебе, себе* были некогда формами Р., Д. и М.пп., семантический Р.п. воспринял в какой-то период окончание *-ѣ* из парадигмы *-\*ja*-основ. При таком объяснении возникают неразрешимые вопросы: откуда в таком случае появилось окончание *-ѣ* у форм Д.-М. пп. и почему названные А. И. Соболевским процессы не затронули парадигмы

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 00-04-00313а.

местоимения 1-го лица. (Вопреки не подкрепленному примерами утверждению автора ни форма Р.п. *мѣнѣ* или *мѣнѣ*, ни Д.-М. *мене* в памятниках восточнославянской письменности не отмечены.)

Иную, фонетическую природу появления *-е* в Д.-М. пп. *тебе*, *себе* предположил А. А. Шахматов. Рассматривая происхождение таких форм в русских народных говорах, он писал: "... в связь с этим можно бы поставить следующее обстоятельство: формы дат. и местн. *тебѣ*, *себѣ* пишутся в русских памятниках, и именно в тех, которые вообще не смешивают букв "е" и "ѣ", как *тебе*, *себе*, например, в Житии Феодосия в первом почерке находим последовательно *тебе*, *себе*; также и во втором почерке является *себе*, в Мстисл. ев. — *тебе* (Карский), в Лавр. — помысли в себе рекъ (в речи философа) и т. д. Это доказывает, что формы *тебѣ*, *себѣ* принадлежали не живому народному языку, а заимствованы из церковнославянского, причем написания с "е" передают церковное произношение, в котором, как мы знаем, ѣ в устах русских людей отождествилось с е: ср. в тех же памятниках написания с "е" в церковнославянских словах, как *среда*, *вредѣ*, *время* и т. п." [Шахматов 1957: 159].

К мнению А. А. Шахматова присоединился Н. Н. Дурново, отметивший многочисленность примеров Д.-М. *тебе*, *себе* в Архангельском евангелии [Дурново 1924: 258].

А. А. Шахматов впервые заявил о чужеродности в русском языке форм Д.-М. с основами *теб-*, *себ-*. Но с его фонетическим объяснением конечного *-е* в них трудно согласиться. При заимствовании из языка с иными звуковыми возможностями (иные звуки или их сочетания) адаптации подвергаются, как правило, звук или сочетание звуков в основе слова, флексия же такого давления не испытывает и оформляется в соответствии с узусом усваивающего языка.

Таким образом, ни предполагаемые А. И. Соболевским морфологические причины мены форм Д.-М. и Р.-В., ни фонетическое объяснение *-е* в формах Д.-М. пп. в памятниках восточнославянской письменности, предложенное А. А. Шахматовым, при ближайшем рассмотрении не могут быть признаны убедительными. Это побуждает к поискам ответа в ином направлении.

Мена форм Д.-М. и Р.-В. пп., как правило, наблюдается в памятниках переводных, восходящих к старославянским переводам или оригинальных, но написанных в традициях старославянской письменности.

Самого пристального внимания заслуживает, во-первых, то, что мена указанных местоименных форм не чужда и самим старославян-

ским памятникам, т. е. текстам, для которых проблемы заимствования форм Д.-М. пп. с основами *теб-*, *себ-* не может быть в принципе, так как только эти словоформы были там единственно возможными; во-вторых, то, что в старославянских памятниках имеются примеры с меной форм Д.п. и Р.п. у местоимения 1 лица. Все это наводит на мысль, что причиной взаимной мены таких словоформ могут быть особенности предложно-падежных отношений в греческом и славянском языках.

Сопоставление, например, старославянского Ассеманиева евангелия с греческим текстом может помочь раскрыть механизм таких замен.

Так, в славянском тексте при предложном сочетании *въ слѣдъ* с глаголом движения местоимение стоит в Р.п. *мене*, *тебе* в соответствии с греческими формами Gen. μου или Dat. μοι, σοι, совпадающими семантически при обозначении принадлежности. Например:

Мт 10, 38: и *іже не приметъ крѣста своего и въ слѣдъ мене градеть нѣсть мене достоинъ* – л. 34b (καὶ ὅς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος – Gen. при предлоге;

Мт 19, 21: *...И прїді въ слѣдъ мене* – л. 45a (...καὶ δεῦρο ἀκολουθεῖ μοι – μοι при глаголе, управляющем Д.п.);

Мт 19, 27: *ω(τ)вѣщавъ же петръ рече емоу. г҃се мы оставихомъ всѣ и въ слѣдъ тебе идом . что оубо вждеть намъ* – л. 34c. (Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολούθησάμεν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν).

Иное соотношение форм в тексте:

И 19, 17: *И носѧ себѣ крѣстъ нзиде . въ нарицаемое краниво мѣсто. Ѣже глеть сѧ евренскѧи голгоѧа* – л. 118a. (καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου τόπον). Здесь в соответствии с греческим Gen. принадлежности αὐτοῦ в славянском употреблена словоформа Д.п. *себѣ*, очевидно, с тем же значением.

Наличие у славянских Д.п. и Р.п. и у греческих Dat. и Gen. значения принадлежности могло вопреки логике и грамматике славянского текста спровоцировать взаимную мену форм Д. и Р. пп. в случаях, не связанных с обозначением принадлежности, как это и произошло, например, в тексте:

Мт 10, 37–38: *Рече г҃ъ любан ѡца и мѣрѣ паче мене нѣсть мѣнѣ*

---

\* Греческий текст цитируется по изд.: 'Η καλὴ διαθήκη. Μετὰ συντόμου Ἑρμηνείας. Ὑπὸ παν Ν. Τρεμπέλα. Ἀθήναι-Νοεμβρίος, 1991.

достоннѣ . іже любитѣ ѿна и дъщерь паче ме(н) нѣсть мене достоннѣ  
– л. 39c-d (ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος, καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος), где в соответствии с одним и тем же словосочетанием οὐκ ἔστιν μου ἄξιος употреблены две разные падежные формы – Д.п. *мѣнѣ* и Р.п. *мене*.

Или употребление формы Р.п. *тебе* вместо Д. *тебѣ* в тексте:

Мт 16, 17: И ω(т)вѣштавъ ѿсь рече емоу . Блаженъ еси сімоне . карнона . ꙗко плѣтъ и крѣвь не ави тебе . нѣ оѣъ мои еже есть на нѣсехъ – 150a (καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνά, ὅτι σάφξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι· ἀλλ' ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς).

На таком фоне легко объясняется и появление формы Д.п. *тебѣ* вместо обычной при глаголе с отрицанием формы Р.п. *тебе* в тексте:

И 13, 8: Гѣа емоу петръ . не омыеши мою ногу въ вѣкъ . ωтвѣшта емоу ѿсь . аще не оумънѣхъ тебѣ . не имашѣ частѣ съ мьноу – л.88 (λέγει αὐτῷ Πέτρος· οὐ μὴ νύψῃς τοὺς πόδας μου εἰς τὸν αἰῶνα· ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐὰν μὴ νύψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ). Если, конечно, не произошло переосмысление, и *тебѣ* не было воспринято как Д-принадлежности при опущенной словоформе *ногюу*.

Более показателен текст:

Мт 11, 29: Възмѣте нго мое на себѣ . и наоучитеса ω(т) мене – 128b (ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ). Здесь форма *себѣ* употреблена вместо *са* (или *себе*) в соответствии с греч. Асс. Замена падежной формы в славянском способствовало то, что пространственные предлоги ἐπί в греческом и славянский *на* являются предлогами двойного подчинения: ἐπί с Асс. и *на* с В.п. обозначает пространство, куда направлено действие ('на чтó'), а с Dat., как и славянский *на* с М.п., означает пространство, где происходит что-либо ('на чем').

Того же типа и пример из Минеи 1097 г.: *на тебѣ, непорочная, спсєнная мюкго оуготованик положихъ* – л. 1616.

Итак, сопоставление материала Ассеманиева евангелия с соответствующими греческими текстами со всей очевидностью показывает, что имеющаяся в старославянских текстах мена словоформ Д. и Р. пп., М. и В. пп. личных и возвратного местоимений была обусловлена семантической близостью этих падежей в славянском и

греческом языках, а именно тем, что значение принадлежности могло выражаться как Р.п. (Gen.), так и Д.п. (Dat.), хотя каждый из них сам по себе имел еще иные, присущие только ему значения, а греческий предлог *ἐπί* и славянский *на* с Acc. (В.п.) обозначали пространство, куда направлено действие, а с Dat. (Д.п.) – пространство, где что-либо происходит.

Естественно, что имеющаяся в старославянских текстах указанная мена местоименных словоформ отразилась и в древнерусских списках. Правда, с некоторыми поправками, о которых см. ниже.

Приведем примеры из однотипных со старославянским евангелий – Архангельского евангелия 1092 г. и Мстиславового евангелия конца XI в.

Д.п. тебе вм. *тебѣ* в *ЕвАрх* отмечена нами в 23 случаях: къ тебе 17, 67об., 75, 85об., 166об., чьто к тебе 22, воуди тебе 30об., 61, чьто къ тебѣ нама ꙗже и тебе 31об., дългъ твои ѡ(т)поустихъ тебе 40, тебе глю 57, 168об., хвалоу тебе въздаю 62об., работахъ тебе 73, въздасть тебе 76, 76об., не послужихомъ тебе 86, глю тебе 95, 99, си дамъ тебе 154, плъть и кръвь не яви тебе 168об., не достонть тебе имѣти жены филипа 172; в *ЕвМст* 14 случаев: къ тебе 48г, 148г, 175г, тебе дамъ власть 70г, чьто къ намъ и тебе иже 71г, тебе глаголю 76г, посланыа къ тебе 88г, 175г, въздасть тебе 123а, ничтоже тебе 157б, вса тебе дамъ 182г, тебе дамъ власть 187г, по рядоу писати тебе 198г; себе вм. *себѣ* в *ЕвАрх* 7 случаев: повели мн нти къ себе 36об., сътворите себе възлагалища 61, вниманте себе 70, вънемаете себе 67, 74, 75об., рекоша ко себе сами 86об.; в *ЕвМст* 4 случая: идѣте... и коупите себе 67в, сътворите себе дробгы 91в, иде... приати себе ц(с)рствик 93в, раздѣлиша себе ризы мота 159в.

М.п. тебе вм. *тебѣ* в *ЕвАрх* 4 раза: идоу по тебе 58об., 59, о тебе благоволихъ 152об., заповѣсть о тебе 154; в *ЕвМст* 1 раз: по тебе идохомъ 93б;

*себе* вм. *себѣ* в *ЕвАрх* 7 случаев: самъ о себе глѣть 9 об., рече въ себе 170об., очюти въ себе силоу 139, начаша ... глѣти въ себе 131об., чьто на поути въ себе помышлякте 140, не начинанте глѣти въ себе 149об., помышляше въ себе 160об.; в *ЕвМст* 3 случая: въ себе диваса вывъшоуоумоу оумоу 3а, о себе не искоушакте правды 88б, о себе ли ... глѣши 151в;

Р.п. тебѣ вм. тебе в *ЕвАрх*: въ тьмьници не посѣтихомъ тебѣ 75; в *ЕвМст*: вси ницють тебѣ 125а;

*себѣ* вм. *себе* в *ЕвМст*: да са отъвържець себѣ и възьметь кръсть свои 44в.

Подобные примеры с избытком присутствуют и в других евангельских списках. Приведем еще лишь несколько из некоторых памятников иного типа.

Д.п. тебе вм. тебѣ в *Изб 1073*: въсѣмъ и самомоу же тебе 1б, къ тебе речеть 31г, ависа тебе 43г; *Мин 1095–96*: тебе припадаемъ 1, въпити къ тебе 10, тебе самомоу 28б, тебе... привъгаю 77а, тебе са поклонѣ 138а и др. (всего 33 случая при 6 – *тебѣ*); *Мин 1097*: тебе молимъса 74б, тебе предълагаю 123б, тебе принесена вы(с) 145б (всего 10 случаев);

*себе* вм. *себѣ* в *Изб 1073*: къ себе 18в, 24б, мжжъ въ троудѣхъ троужактъса себе 3бг и мн. др.; *Мин 1095–96*: себе сътажавъ истинуоу 105, себе сътворила мѣнина 49а, прѣстолъ стѣ на земли себе оуготовалъ 50а, тѣхъ... себе примъ 121а.

М.п. тебе вм. тебѣ в *Изб 1073*: да боудеть гнѣвъ г(с)нь на тебе 95а, въстане въ тебе прѣкъ 120в, о тебе вѣда 121г и др.; *Мин 1095–96*: книги о тебе 2об, о тебе въглшаста 12б, 89а, 108а, 110а, въ тебе... обнавляютьса 158об. и др.; *Мин 1097*: о тебе танньство 157об., радоуиса о тебе боити 100б, о тебе хвалюса 109б и др.

*себе* вм. *себѣ* в *Изб 1073*: жизнь имать въ себе 6в, оутрь бо въ себе имать оца и бѣна... и дхъ стын 18в, азъ о себе не глаахъ 4бг и др.; *Мин 1095–96*: имать бжтвьствонок въ себе 153об.; *Мин 1097*: добродѣтели шбразъ въ себе... изъвѣстилъ 104а.

Р.п. тебѣ вм. тебе в *Мин 1097–1096*: ш(т) тебѣ 52б, 173б, ис тебѣ 160а, 174а, развѣ тебѣ ба не съвѣмъ 131а, *себѣ* вм. себе в *Мин 1095–96*: ш(т)вьрьгъшаста себѣ до конца 175а.

В.п. тебѣ вм. тебе в *Мин 1095–96*: тыщащогоса тебѣ тоурната [в др. сп. тоурната т.] окрасти 175а, *себѣ* вм. себе в *Мин 1095–96*: пощеникъ себѣ... очнстилъ кси 75а.

Важно подчеркнуть, что в восточнославянских списках замене подвергались словоформы Д-М. пп. местоимения 2 л. и возвратного, различавшиеся своими основами: в старославянском языке *тебѣ*, *себѣ*, в народно-разговорном же языке восточных славян – *тобѣ*, *собѣ*. Имевшиеся в тех же памятниках формы с основой *тоб-*, *соб-* сохраняли свои обычные окончания. Например, *Изб 1073*: обрѣтошаста въ тобѣ 163г, все о собѣ 224в, въ собѣ различьствоуиа 23в, въ



сѡбѣ не състоитѣся 235г и др.; *Мин 1096*: въ сѡбѣ вѣсѣса безоумь-нын мѣтль... повелѣваетъ оуморити мечьмь вась 44б.

Местоимение 1 лица, имевшее в старославянском и древнерусском языках одинаковую основу в Д.-М. пп., также сохранило обычное для этих падежей окончание -ѣ.

Из рассмотренного материала можно сделать следующие выводы:

В книжно-письменном языке восточных славян словоформы Д.-М. пп. *тебѣ, себѣ* стали грамматическими дублетами словоформ *тобѣ, собѣ*, сохранявших в народном языке прочные грамматические позиции.

Грамматическая устойчивость собственных словоформ *тобѣ, собѣ* обусловила шаткость грамматических позиций форм *тебѣ, себѣ* и делала именно их уязвимыми и податливыми на провокации со стороны словоформ Р.-В. пп.

В основе же механизма взаимной мены указанных форм лежат особенности древних языков; наличие в них двух падежей, способных обозначать значение принадлежности (Д. и Р.) (Dat. и Gen.), и, как в рассмотренных примерах, наличие предлогов двойного подчинения. В частности, *на* с Д.п. и В. и *ѣлі* с Dat. и Acc. обозначали различные пространственные отношения: пространство, на котором что-либо происходит, и пространство, куда направлено действие.

## ЛИТЕРАТУРА

Дурново 1924: *Дурново Н. Н.* Очерк истории русского языка. М.-Л., 1924.

Соболевский 1907: *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. Изд. 4-е. М., 1907.

Шахматов 1957: *Шахматов А. А.* Историческая морфология русского языка. М., 1957.

В. Н. ТОПОРОВ

### О некоторых детских играх как трансформации мотивов "основного" мифа (прятки – салки-пятнашки и др.)

Идея мифоритуального происхождения ряда детских игр не принадлежит к числу новых, однако конкретных исследований в этой области, восстанавливающих связь игры с мифом и ритуалом, мало, и чаще всего их выводы носят слишком общий характер.

Современный же уровень исследования этой проблемы требует большего, а отчасти и иного. Он задается двумя противоположными по направлению движения, но в одном и том же пространстве осуществляемыми процедурами, — реконструкцией по "игровому" тексту элементов архаичного мифоритуального текста, в той или иной степени сохраняющихся в игре, и поиском-выявлением в архаичных мифоритуальных текстах того, что отражено, с неизменными потерями и модификациями, все-таки сохраняется в базовых (т. е. "разыгрывающих") основные, ключевые идеи прототипа) "игровых" текстах.

Таким образом, речь идет о двух направлениях движения: восходящем — от игрового текста к его прототипу и нисходящем — от прототипа в том виде, в каком он нам известен по другим нежели сама игра источникам, к "игровому" тексту. При противоположной направленности этих движений их анализ служит единой и общей цели — установлению связей между прототипом (или его древнейшими версиями) и его конкретным типом, представленным "на выходе", т. е. в известном в наши дни "игровом" тексте, и исследованию-определению (спецификации) характера этой связи. Но пока это задание не получило (за немногими исключениями) удовлетворительного решения. Тем более это относится к теме поисков реликтов так наз. "основного" мифа, реконструкции которого были посвящены многие работы, начавшиеся у нас с рубежа 60–70-х годов и продолжающиеся вот уже три десятилетия на материале текстовых и мифоритуальных индоевропейских традиций, прежде всего балтийских, славянских, индо-иранских.

В этой заметке предпринимается попытка привлечь внимание к обозначенной выше теме и представить в кратком варианте (полный будет опубликован в другом месте) результаты обращения к этой теме.

Прежде всего следует обозначить *terminus comparationis* мотивов, общих "основному" мифу и ряду "базовых" и, очевидно, наиболее архаичных детских игр. Эти общие "основному мифу" и определенному классу детских игр мотивы нагляднее всего обнаруживают себя в композиции, отражающей последовательность мотивов в трех (по крайней мере) ракурсах — содержательном, взятом в развертывании сюжета и соотносимом с соответствующей нарративной конструкцией, из которой и узнается порядок сюжета и порядок того, что описывается сюжетом, пространственным и

временном. Схема несколько осложняется при переходе к персонажному уровню. Строго говоря, и сами мотивы и сюжет, восстанавливаемый из их последовательности, предполагает участие двух сторон, условно А (всегда представленная одним персонажем) и В (представленная одним же или более персонажами). Обе эти стороны по самому исходному условию антагонистичны в том отношении, что их цели в данном сюжете – "основного" мифа или детской игры, этот миф отражающей и в конечном счете в наиболее существенной ее части из него происходящей и, следовательно, к нему восходящей, – противоположны, хотя, строго говоря, эта противоположность не относится в принципе к неизменным условиям *sine qua non*: просто в случае "снятия" этой противоположности рухнет (во всяком случае, при первом взгляде) сюжет и "основного" мифа, и соответствующей детской игры. Причиной этого является идея нерушимости-неделимости имени-имущества, добра, добытка: оно принадлежит или стороне А, или стороне В, и не может быть так, чтобы А (или В) оно принадлежало в большей степени, чем В (или А), тем более, чтобы оно было распределено поровну: любое равенство, любая одинаковость снимают всю ситуацию, исключая повод для конфликта, его причину, основание для него. И сюжет вообще и конкретно данный сюжет в этом случае лишаются движения и топчутся на одном и том же месте.

Встает вопрос, чем объясняется такая крайность и непримиримость в распределении имени-добра между сторонами. Ведь прекрасно известно, что чаще всего такое распределение благ градуировано: у одного больше, у другого меньше, у одного богатство растет, у другого уменьшается; наконец, существуют и ситуации равновесия или даже некоего фиксированного распределения благ (хотя и неравного), при которых обе стороны заинтересованы в *status quo* и делают все, чтобы не отклониться от ситуации равновесия или даже неравновесной стабильности. Дело в том, что "основной" миф потому так и называется, что он о главном в жизни человека – о жизни и смерти, о возрождении из смерти к жизни вечной, к бессмертию, об этом конфликте конфликтов, в котором предельно жесткий выбор, совершаемый *hic et nunc* и предполагающий максимальную противопоставленность и, следовательно, отвечающую ей дискретность, "снимается" в гармонии

"большого" времени, по-своему трансформирующего последовательность дискретных отрезков в непрерывную линию. Первоначальное непримиримое или – или преобразуется в ряд и то, и другое, и что-то еще третье, в котором растворяется исходно полагаемый непримиримый антагонизм, на котором строится принципиально новый сюжет, чья глубина уходит в тайну человека и его бытия.

Прежде чем непосредственно вернуться к схеме последовательности мотивов, составляющих текст "основного" мифа и одновременно описывающих сюжет соответствующих детских игр, следует напомнить еще о трех важных положениях, относящихся к обоим текстам ("основной" миф и детская игра определенного типа) и установленных в прежних исследованиях. Первое – перед нами ситуация конфликта между сторонами, доведенного до предела и исключающего какую-либо договоренность. Второе – причиной конфликта оказывается дефицит, испытываемый одной из сторон при отсутствии его у другой. Третье – дефицит (нехватка или – в наиболее острой ситуации – полного отсутствия) относится к имуществу, скоту, женщинам, за обладание которыми и идет смертельная борьба. Но здесь уместна одна оговорка – есть версии "основного" мифа, как и в соответствующих детских игр, в которые введен принцип мены позиций: то А испытывает дефицит и, чтобы его восполнить, преследует В с целью произвести перераспределение богатств, то В, потерпевший поражение (хотя и временное), собрав силы, преследует А, ставшего обладателем богатства и сделавшего его, В, "лишенцем". Такие мены могут повторяться циклически, но в конце концов окончательная победа оказывается на стороне "положительного" персонажа, который в силу этого и становится высшим образцом. Более того, сама "положительность" плод окончательной победы.

Мотивная схема, о которой далее пойдет речь, в основном ее варианте предполагает пять мотивных узлов, если отвлечься от частных случаев: 1. искать, выискивать, высматривать, выслеживать (А как субъект) & 2. преследовать, догонять (А) & 3. прятаться, укрываться в "доме"-убежище (В как субъект) и отыскивать, ловить, "метить" (А как субъект) & 4. "очищать" пространство и усваивать-осваивать его себе (А) & 5. достигать цели – полного перераспределения-присвоения "имения", богатства (А).

Как видно из схемы, А выступает в подавляющем большинстве случаев как субъект по преимуществу – активный, инициативный,

наступательный. В же, напротив, чаще всего оказывается объектом действий со стороны А и только в одном случае субъектом действия, пассивного по своей природе – исчезновения из поля зрения А, укрытия там, где он мог бы укрыться от опасностей, грозящих ему со стороны А. Из этой же схемы довольно естественно восстанавливается структура актуального для этой цепи мотивов, составляющих сюжет, пространства, распределение его между А и В и эволюция "владельческих" прав на разные части его и в конце концов на целое этого пространства. В этой перспективе и пространство оказывается в числе того "имения", тех благ, за которые идет борьба. То же относится и к времени, существенно "специализированному" в представлении создателей и пользователей тем, что обозначается как "основной" миф. Во всяком случае семантическая мотивация обозначений времени во многих индоевропейских языках отсылает к идее пространства и/или заполнения ("имение", блага) его, и время, особенно отмеченные его точки, праздники, образуют тоже "имение", благое достояние. Общая динамика изменения пространства и времени общая: у А и то и другое возрастает, у В – уменьшается, убывает, пока и то и другое для него не сходят на нет, обрываются.

Поскольку и в "основном" мире и в соотносимых с ним детских играх происходят изменения, то предполагается некое движение и в пространстве и во времени. В отношении же направления движения участников А и В различное, по крайней мере в части ситуаций и некоторых версиях обеих разновидностей "игровых" текстов. А, "преследователь", в одних версиях неподвижен, его локус – небо, вверху, в некоем центре ("геометрически" он может быть и эксцентричным), но подвижны направления его "точечных" ударов (молнии Громовержца) по перемещающемуся в поисках укрытия В, "противнику" Громовержца. Соответствие "преследователю" из "основного" мифа в детских играх, т. е. А, напротив, непосредственно подвижно, поскольку А здесь по самому условию игры должен выйти из своего фиксированного неподвижного локуса в центре: если А не покинет его, то он не сможет выполнить своей главной (и практически единственной) задачи – высмотреть, найти-обнаружить-поймать В, "пометив" его в знак достижения цели, выполнения своей задачи. У этого А в детских играх свое особое и очень характерное обозначение, известное в целом ряде вариантов и в определенном смысле уравнивающее его с Громовержцем из "основного" мифа, о чем см. ниже.

Среди детских игр, обнаруживающих наиболее очевидную связь с мотивами (и даже отчасти с сюжетом) "основного" мифа, – прятки, жмурки, салки-пятнашки, горелки и др.

Игра "прятки" (другие ее названия – *пряталки, прятанки, хоронки, гулочки, кулочки, жмурки*, смол. обл. и др.) до сих пор имеет довольно широкое распространение среди детей, хотя сейчас по сравнению с 20–30-ми годами XX века она, кажется, сильно сузила объем своего употребления. Общий смысл игры определяется приблизительно одинаково – "одни прячутся, другие ищут" [Даль<sup>4</sup> III: 1399]; "детская игра, состоящая в том, что все, кроме одного (водящего), прячутся, а тот ищет их" [Ушаков: 1058; ср. ССРЛЯ 10: s. v.], подробнее – [Игры 1933: 434–441]. Формулировка содержания игры в словаре Ушакова вполне отвечает той форме игры, которая практиковалась в 30-ые годы среди детей в Москве (по крайней мере), и она, как ни странно, в большей степени отражает близость к "основному" мифу, нежели вариант, описанный Далем. Ищущий спрятавшихся определяется циклическим применением считалки, пока из участников игры не останется последний (или реже – жребием) который и оказывается водящим, так как именно он *вóдит*, ища спрятавшихся. Поскольку спрятаться легче, чем найти спрятавшихся, и поскольку ищущий (водящий) активен, а спрятавшиеся пассивны, именно водящему уготована в игре ведущая роль. Там, где исходное место водящего, – его дом (или город), определяющий собою абсолютный центр, из которого в принципе открыт обзор во все стороны, но все-таки увидеть из этого центра спрятавшихся практически невозможно, тогда как они в зависимости от конкретной ситуации могут в одних случаях следить за водящим, а в других могут и не видеть его. Как бы то ни было, водящему, чтобы найти спрятавшихся, надо выйти из своего дома-города и заняться поисками. Это он и делает, ища спрятавшихся в их домах-укрытиях, расположенных чаще всего на периферии, вдали от центра, который, однако, важен и для них. Дело в том, что спрятавшиеся, будучи уже обнаруженными водящим и названными им по имени, сохраняют еще единственный шанс не проиграть: для этого им нужно достичь центра раньше, чем водящий (ситуация состязания в беге, когда или водящий преследует обнаруженного или наоборот, последний первого), в надежде обогнать водящего; захватить находящуюся в центре палочку-выручалочку (вполне

реальную или только мыслимую, символическую) и успеть произнести формулу *палочка-выручалочка, выручи меня* (интересно, что фрагмент *выручалочка, выручи* как бы содержит в себе в перевернутом виде анаграмму слова *чур*, употребляющегося в игре в салки в ситуации, когда водящий вот-вот настигнет убегающего и тот вынужден остановиться, став "столбом" или присев на корточки, скрестив в обоих случаях руки на груди и произнося слова *чур меня! чур меня!*; это *чур меня!* как раз и выручает от водящего, который не может нарушить одно из правил-условий игры; интересно, что и при игре в прятки водящий, заметив спрятавшегося, кричит *чур мой, чур!* и бежит в город, см. [Игры 1933: 434]; это междометие *чур!* указывает некий предел, запрет на переход некоей черты или выступает как своего рода экзорцизм – *прочь! вон!*). В некоторых вариантах игры в прятки водящему мало обнаружить спрятавшегося, но нужно еще и поймать его (см. [Игры 1933: 435]); иначе говоря, игра в прятки в этом ее фрагменте как бы трансформируется в игру в салки. Увиденный, найденный, но официально не "оформленный" водящим как таковой, он оказывается по достижении первым дома победителем водящего и в следующем цикле продолжает прятаться, тогда как водящий продолжает водить. Если же верх в этом беге-состязании за водящим, то найденный, пойманный и "отмеченный" выбывает из игры и ждет ее окончания и новой жеребьевки в очередном цикле игры.

И еще два существенных мотива, отмечаемых в игре в прятки, но не непременно в ней присутствующих. Первый из них – мотив битья: "Если отыскивающие уйдут далеко от города, спрятавшиеся выскакивают, бьют их шайками и занимают город. Пострадавшие должны везти их на спинах в город с того места, где они были ударены" [Петров 1890: 6]. В некоторых вариантах игры в прятки водящий, настигнув спрятавшегося, ударяет его по плечу или по спине, очевидно, слегка, как бы сая-метя его. Весьма любопытно, что сценарий игры, как, очевидно, и "зрители" ее, более благожелательны к прячущимся, представляемым как "преследуемые", чем к водящему-"преследователю": последнего бьют, унижают, используя его как средство передвижения; первых же в лучшем случае "метят" и исключают из игры в данном конкретном цикле.

Второй мотив или, скорее, конститутивный элемент игры в прятки состоит в том, что водящий обычно один (во всяком случае

чаще всего), а прячущихся много, и в практике игры они могут образовывать коалицию, когда, жертвуя успехом одной части прячущихся, можно обеспечить удачу другой части и позволить ей добраться до дома-города и палочки-выручалочки раньше водящего. В контексте "основного" мифа, в тех его версиях, где Громовержцу (или иному главному и положительному персонажу от верховного бога до героя *par excellence*) противопоставлен "коллективный", многочисленный противник, появляющийся, однако, как правило, не в полном своем составе, а поочередно, в разных пространственно-временных (хронотопических) узлах. При этом предполагаются две ситуации – в каждом эпизоде "противник" (злая сила) представлена особым, каждый раз новым "противником" или же "противник" один, но проявляется он многократно, и сам поединок становится прерывистым, дискретным. Вариант игры в прятки с множеством прячущихся можно считать отражением тех версий "основного" мифа, в которых оппонентом выступает "коллективный" противник в двух только что описанных разновидностях.

Наконец, нужно отметить еще одну тему, представленную и в "основном" мифе и в детской игре в прятки и являющуюся общей чертой, на которую, однако, не обращали должного внимания отчасти, видимо, потому, что идея этой темы присутствовала в источниках чаще имплицитно, чем в эксплицитованном виде. Речь идет о соотношении мотивов видимости и невидимости, зрячести и слепоты и их распределении между А и В, Громовержцем, преследователем, водящим, "открытым" зрению персонажем, и Противником, преследуемым, скрывающимся и потому невидимым или отнюдь не сразу видимым персонажем (а иногда и невидящим, так как, скрываясь, от преследователя, он тем самым и их скрывает от себя). Да и само это сокрытие себя – палка о двух концах: субъект такого сокрытия нередко уподобляется маленькому ребенку, который, замурив глаза, полагает, что, если он ничего не видит, то и его никто не видит. Так или иначе, но зрение персонажей А и В в "основном" мифе и в игре в прятки разное – и по силе, и по интенсивности, и по активности, по целенаправленности, по целостности, по осмысленности, наконец, по характеру связи с движением в пространстве. В игре в прятки скрывающийся В, строго говоря, заинтересован в зрении только в последний момент перед тем, как А раскроет его дом-укрытие, чтобы иметь возможность добраться до



дома-города А раньше, чем сам А. В остальное же время пребывания в сокрытии зрение ему (В) не нужно вообще. Но и в "основном" мифе В, имеющий (в отличие от В в прятках) возможность менять убежище по мере его преследования со стороны А, делает это не потому, что видит приближающуюся опасность, но потому что А (Громовержец) разрушает убежище В, вынуждая его искать новое. Для А достаточно двух глаз, В же, "противник", часто многоочит (как и многоголов) или одноглаз (ср. одноглазое Лихо в сказках). Но множество глаз не увеличивает зрения; напротив, оно признак "фасеточного" зрения, имеющего своим результатом принципиально атомизированную и не связанную в своих отдельных частях картину мира. Такое зрение лишено синтетичности и цельности, центрированности и способности к осмыслению, установки на знакопорождение и на контроль. Тема видимого и невидимого, зрения и слепоты применительно к рассматриваемым здесь текстам может быть полностью осмыслена в контексте мифа и ритуала или сильно мифологизированных художественных текстов – таких, как, например, гоголевский "Вий".

В этом контексте особое внимание должна привлечь к себе игра в жмурки (другие ее названия – *жмёркишки, жмёркышки, жмёркушки, жмёрышки, глаза́, бёркала, талы, баньки*, см. Даль I<sup>4</sup>: 1357; СРНГ 9: 87: *жма́канцы, жа́чки* – "игра в жмурки, где все жмутся"). Конечно, она принадлежит к тому же классу, что и прятки, и так же предполагает и спрятавшихся и ищущего. Разница в другом – в распределении зрячести и слепоты. В отличие от прятков в их каноническом варианте в жмурках слеп водящий, он же ищущий, а зрячи прячущиеся, которые спрятаны, однако, только для незрячего водящего. На самом же деле они крутятся вокруг него, отпускают шутки, поддразнивают, даже касаются его иногда рукой, задевают его, символически бьют его по спине и быстро укрываются-отступают от попыток водящего поймать их наугад. Если водящему удастся помочь кому-нибудь и угадать его имя, то он меняется с пойманым местом (см. [Покровский 1895: 204–209; Игры 1933: 391–400]). Ключевыми словами локального словарика словесного текста игр класса "прятки-жмурки" (как и списка соответствующих мотивов и/или списка "кинем") оказываются *водить*, значительное разнообразие обозначений субъекта этого действия – *вожак, вожатай (-ый), водильщик, -ица, водырь, вожельник* и др.,

также обозначения основных предикатов – *видеть – не видеть, глядеть, смотреть, искать, отыскивать, находить, преследовать, бежать-догонять, ловить, поймать, схватить, касаться (рукой), салить, пятнать, пачкать, метить, ударять, бить, отгадать имя, жмуриться, выручать, очертить*, обозначения локусов, предметов и т. п. – *круг, черта, дом, город; палочка-выручалочка, палочка-воровочка; чур; слепой*. Из этого локального словарика с весьма характерным составом и, не менее, из до сих пор сказанного следует, что весь сюжет строится вокруг двух спаренных мотивов – искать-отыскивать (находить) и преследовать-догонять и двуединой цели – побеждать-выигрывать.

Приведенный материал легко может быть увеличен, но и того, что приведено вполне достаточно, чтобы сделать надежным и осмысленным его сопоставление с сюжетом ядра "основного" мифа, где речь идет о поединке главного положительного персонажа с его противником, безусловно отрицательным, но играющим свою необходимую роль в творении – в возникновении через смерть-гибель новой, усиленной многократно жизни или даже вечной жизни, бессмертия.

Если взять те версии "основного" мифа, которые лучше всего представлены на литовском, латышском, белорусском материале, то достаточно будет ограничиться здесь материалом последней традиции и лишь минимумом примеров, чтобы убедиться в их соответствии в отношении отдельных элементов и самих схем подобным же элементам и схемам рассмотренных выше словесных текстов русских детских игр типа прятки или жмурок.

Из белорусских отражений "основного" мифа можно напомнить о сказке [Романов 1891: 155, № 3], проанализированной в другом месте, в которой описывается преследование громовержцем Пяруном своего противника – "нечистого". Вот схема фрагмента этого преследования.

Пярун преследует нечистого, грозя ему: "Я тебя у бью!" Тот возражает: "Как же ты меня убьешь? Ведь я спрячусь!" – "Куда?" – "Под человека!" – "Я убью человека – и тебя убью". – "А я спрячусь под коня!" – "Тогда я и коня убью – и тебя убью!" – "А я под корову спрячусь!" – "Я и корову убью – и тебя убью!" – "А я под дерево спрячусь: там ты меня не убьешь". – "Я дерево разобью – и тебя убью!" – "А я под камень спрячусь!" – "Я и камень разобью, и тебя убью!" – "Ну, тогда я спрячусь в воду". – "Там тебе место, там и находишься!"

Таким образом, при предположении, подтверждаемом и многими другими фактами, что этот сценарий преследования нечистого, последовательно прячущегося там, где он надеется укрыться от Пяруна, соответствует реальному разворачиванию сюжета, оказывается, что перед нами своего рода "прятки", фиксируемые мифологическим сюжетом о Громовержце и его Противнике, который, как предполагается, быстро перебежал, спасаясь от преследования, из одного укрытия в другое, для которого в игре в прятки существует особый *terminus technicus* "перепрятывание", которое оказывается возможным для прячущегося при недостаточной бдительности водящего.

Существенно отметить, что один из распространенных видов прятания – изменение облика, обращивание каким-либо животным. Также стоит отметить, что прятаться значит стать невидимым, невидным и потому как бы лишить преследователя способности к зрению, сделать его, хотя бы на время, слепым (ср. характерные обозначения игры в жмурки с использованием слова *слепой* – "Слепой козел", "Слепой чепиш", "Слепой петух", "Слепая курица", "Слепой барин и Яков", "Слепая баба", "Слепая Олена", "Слепец", "Двое слепых" и т. п. [Игры 1933: 395–399]. Автору этих строк приходилось встречаться и с названием *слепкú* (*играть в слепкú*), род игры в жмурки. А это название в гипотетической праславянской форме имело бы вид \**slěp-ьk-i* (из более древнего \**slēp-uk-oi*), что кроме вокализма корня в точности соответствует названию игры в прятки в лит. *slapùkai* (гипотетический прототип – и.е. \**slop-uk-oi*), ср. *slapùkais žaĩsti* 'играть в прятки', а также *slapstỳnès, slapstỳnès žaĩsti* 'играть в прятки', *slėpỳnès* 'игра в прятки'; лтш. *spēlēt slėpšanos* 'играть в прятки', *slėpeņi* 'игра в прятки' и т. п.

Можно указать еще один важный мотив, объединяющий "основной" миф с детской игрой в прятки (он был проанализирован в другом месте), – воровство некоего важного объекта и в реально-практическом и в символическом планах. Так в "основном" мифе, как он известен по его поздним версиям и по результатам реконструкции, причиной конфликта между Громовержцем и его Противником оказывается кража последним у первого чего-то важного, принадлежавшего этому первому – от оружия и животного до жены и дочери. Особенно распространен этот мотив в соответствующем сюжете, где участвуют Perkūnas и Velnias, т. е.

Громовержец и его Противник, в литовской мифологической традиции (см. [Balys 1937: 154, №№ 84–89 и др.]).

Воровство оружия (а именно оно основной предмет кражи) Перкунаса его Противником, если бы оно было необратимым и навсегда было бы закреплено за противником-вором, решительно меняло бы ситуацию мифа, но Громовержец своевременно успел поразить его и, как следует думать, вернул себе украденное. Тем не менее сама ситуация, когда захват-воровство оружия может в корне изменить шансы тяжущихся сторон, особенно обнаруженной и проигрывающей стороны, которую такая же кража могла бы выручить, предусмотрена в ряде версий "основного" мифа и, более того, она косвенно отражена и в детских играх класса "прятки". В данном случае речь идет о палочке-выручалочке, захватив которую после своего обнаружения водящим, обнаруженный в своем укрытии участник игр все-таки еще мог бы спасти себя и перейти в том же статусе искомого в следующий цикл игры. В этом смысле палочка-выручалочка, конкретно-материальная или только символическая, но искони принадлежащая водящему, оказывается "игровым" соответствием оружия Громовержца в "основном" мифе, и это утверждение, взятое в соответствующем контексте, представляется самоочевидным, из чего, однако, не следует, что другими аргументами можно было бы и пренебречь.

Далее лишь один аргумент, важность которого трудно переоценить. Речь идет о палочке-воровке, или ворованной палочке (скраденной палочке), которая, собственно, и есть палочка-выручалочка, обладание которой сулит успех в игре в прятки. При этом нужно отметить многофункциональность этой палочки в разных версиях игры класса "прятки", а также тенденцию – в некоторых ситуациях – к ее персонификации. Но мотив воровства, украденности этой палочки, столь органичный в "основном" мифе и менее понятный в игре в прятки, остается центральным. Несколько примеров – "В Нижегородской губ., найдя палку и воткнув ее в землю [эротический мотив, связанный, видимо, с оплодотворением Земли, при котором палка метонимически отсылает к Громовержцу с палицей как представителю Неба, ср. Мать-Земля и Отец-Небо. – В.Т.], водящий говорит: «Скрадена пошла, по домам пошла, того первого найдет, тот за скраденной пойдет» или «того за нас берет» (: *брак*).

Потом трясет палку и кричит: «Чур, мою палочку не красть!» [Игры 1933: 437, № 1130], ср. также игры "Палочка ворованная", "Палочка-воровка" [Игры 1933: 439, № 1137; 440, № 1139; Капица 1928: 138 и др.]. Даже когда в подобных играх мотив воровства приглушен или даже вовсе отсутствует, они удерживают другие диагностически важные мотивы или содержат новые – палка-помощница в отыскивании спрятавшихся, палка как оружие, палка и "огонь" (место, откуда палка бросается, ср. мотив метания палицы Громовержца в своего Противника) и др. Такова, например, игра "Свая": "Берут сваю [...] Заостряют с одного конца и начинают вбивать в землю [...] Затем все убегают и прячутся, кроме одного – того, кто водит. Водящий игру старается выдернуть сваю, а выдернув, бежит с нею искать спрятавшихся. Как только найдет кого-то из играющих, бежит на место, втыкает сваю в дыру и кричит: «Засалю» [...]» [Игры 1933: 437, № 1131]. Другой вариант – игра "Палочка-булавочка": "Один из играющих бросает далеко по улице палку, и тот, кому досталось «итти в поле», должен бежать за нею и привести ее к «огню», т. е. к тому месту, откуда она брошена. Пока полевой бежит за палкой, остальные играющие должны спрятаться. Принося палку к воротам – к огню, полевой отстукивается и говорит: «Палочка-булавочка домой пришла, дома никого не нашла. Кого первого найдить, той за палочкой пойдить». Оставив палку у огня, полевой идет отыскивать спрятавшихся, а те стараются воспользоваться его отлучкой и, схватив палку, отстукиваются [...] Игра иногда осложняется тем, что полевого обязывают отыскать или «застукать» всех участников игры" [Петров 1863: 242; Игры 1933: 438, № 1134] и т. п. Игра в "палочку-татарочку" в версии, описанной П. В. Шейном, вводит мотив опознания спрятавшихся по именам со стороны "ловильщика" и детали известной персонифицированной палочки: "[...] Ловильщик бежит наугад к одному из таких мест, где могут спрятаться играющие, с палкою в руках и, ударя по нему, говорит: *Пáлочка-татáрочка | никóво не нашла. | Каво перваво найдет, | Таво в поле пошлет* или: *Палычка-татарычка | На мести ляжит | Никуды не бежит [...]*" [Игры 1933: 438–439, № 1135; более полный вариант – [Шейн 1898: 51–52, с важным пояснением – "Эта игра относится к разряду игр «в прятки» и «в бег взапуски», как бы

соединяющим прятки-прятанье и состязание в беге, в более широком контексте – прятки и салки)]. Роль палочки существенна и в таких играх, как "Тыкало", "Тыкач" и др., ср. также имя соответствующего участника и игры [Игры 1933: 427–428, №№ 1096–1098], в связи с мотивом тыкания, втыкания (ср. выше о втыкании сваи, кола в землю в том же классе игр).

Палка, палочка, фигурирующая в игре "прятки" и спорадически используемая для битья преследуемых, находит соответствие в орудии Громовержца – палице, дубине, молоте, "кие" (ср. лит. *kūjis* [: праслав. \**kyjь*], преимущественно орудие Громовержца – ср. [Balys 1937: 170–171, №№ 364, 370] и многие другие примеры).

Важная роль этого орудия в рассматриваемой игре и высокая частотность самих слов *палка*, *палица*, *палочка* в соответствующих описаниях игры дают основания учесть и этимологию этого слова, связанного с действием раскалывания, трескания и т. п. (Фасмер III: 193 и др.), т. е. с характерным предикатом Громовержца в реально засвидетельствованных филиациях "основного" мифа, и несомненно важную, хотя и не до конца ясную роль пальцев, особенно большого, в этих играх. Прежде всего при определении водящего в прятках "конаются на пальцах" и "играющий, палец которого остался последним, ловит остальных игроков" ([Завойко 1915: 130; Игры 1933: 368, № 866] и др.). В игре в прятки (вар. – "ималки") "водящий избирается, дотронувшись до замазанного сажей пальца" [Иваницкий 1890–1891: 159; Игры 1933: 437, № 129], в чем можно видеть мотив опаленности огнем, горения (ср. игры "горелки", "горячее место" [Покровский 1895: 106; Игры 1933: 375, № 902 и др.], locus, называемый "огнем": от "огня" бросают палочку-булавочку и к "огню" ее приносят и здесь оставляют, без чего водящий ["полевой"] не может отправиться на поиск спрятавшихся, или игру "Огонек", главная роль в которой – поджигатель, как можно предположить, сниженный вариант Громовержца). Итак, палка, палец, палица, предикаты которых ударять, бить, расщеплять, раскалывать; палить 'жечь' (ср. ст.-слав. *полѣти* 'гореть', 'пылать') и палить 'стрелять', а также существительные *пламя*, *пал*, *паленье*, *полено* (*полѣно*) – и слова, выступающие в русских детских играх рассматриваемого класса, и понятия, реализующиеся в разных версиях "основного" мифа.

Продолжая тему пальца, нужно указать на одну важную особенность, а именно на то, что палец оказывается отмеченным как раз в связи с фигурой водящего, который должен искать и найти остальных, о которых он пока ничего не знает, и укрытие-дом ни одного из них ему неизвестен, но найти и собрать их в целое должен именно он, водящий, ведущий, своего рода вождь пока разъединенных и потерянных. Но у брошенного всеми водящего, пребывающего до поры в этой неизвестности относительно остальных, нет иного шанса кроме собственной сообразительности – ситуация, напоминающая ту, в которой оказался мальчик-с-пальчик, заведенный в темный лес и все-таки находящий путь к дому, к спасению всех, кто с ним. Водящий в игре – в самом сложном положении, но только ему по силам выйти из этого положения и восполнить дефицит до целого: по сути дела, как и мальчик-с-пальчик из сказки, он самый уязвимый и всеми оставленный, но он потому и водящий, вождь, водырь, что только он способен стать вождем-предводителем (логическая схема, часто используемая в мифах, сказках, играх – "последний", становящийся "первым", "худший" – "лучшим"). Нельзя также не отметить и роль большого пальца как в играх (вплоть до современного варианта игры в "заплеухи", когда все участники из категории "бьющих" водящего после удара одного из них сжимают ладонь в кулак, выставляя лишь большой палец вверх, по вертикали), так и в мифоэтической и магической символике, о чем предполагается сказать в другом месте, не останавливаясь уж специально на роли пальцев в счете, считалках, гаданиях и т. п.

Идея бега, своего рода состязания в скорости, от успеха в котором зависит спасение, присутствует и в игре в прятки (когда найденный и водящий соревнуются в том, кто первым добежит до палочки-выручалочки), и в ряде версий "основного" мифа, в которых мотив преследования реализуется как бег – настигание убегающего со стороны А и убегание преследуемого В. В игре в салки, или пятнашки эта идея спасительного бега является главной, хотя при этом требование максимальной скорости может и не возникать, компенсируясь ловкостью и расчетливостью. Победитель в этом состязании в беге что-то значит лишь в данном цикле игры, и выявление победителя означает переход от одного цикла (А преследует М) к другому (М, в случае победы в цикле становящийся А, преследует любого из других, входящих в класс В). Но по самому

условию игры абсолютный победитель не может быть выявлен, поскольку каждая удача водящего и преследующего А связана с переменной этого А, который, собственно, и есть функция преследователя, подобно тому как В – функция преследуемого. Таким образом, игра реализует себя через постоянный обмен ловящего А на ловимого В. Эта ситуация "разыгрывается" и в целом ряде других игр, в которых идея обмена нередко выступает в варианте купли-продажи, часто сопровождаемой полемическим диалогом между продавцом и покупателем, сопоставимым с подобным же диалогом (см. выше) между Громовержцем и его Противником или их более поздними филиациями. В другом месте такие игры ("Дуб", "Дети", "Горшки" и др.) рассматриваются подробнее и отмечаются побочные (кроме идеи обмена и диалогической формы прений) совпадения с сюжетом "основного" мифа. Таких совпадений и переключек много и почти все они обладают важным диагностическим значением, хотя иногда требуют довольно специальных разъяснений, анализа недоговоренностей. Лишь один пример. В свое время детская игра "в детей", прокомментированная в свете "основного" мифа, поднимающая недетскую тему проданного дитяти и в основном представленная "отказными" вариантами, привлекла внимание исследователя иными своими вариантами (тоже нередкими) – с продолжающимся торгом и неизвестным его исходом. В этих вариантах игры, судя по их описанию и сохранившейся словесной части, присутствует нечто такое, что вселяет подозрения в недоговоренности чего-то весьма важного, что, хотя и смутно, отсылает к догадке, что в их основе лежит какая-то страшная история.

В вырожденном виде и с подменой мотивировки такая история, видимо, присутствует в тексте игры "У детки" [Игры 1933: 365 № 856], известном, впрочем, в слишком кратком и с лакунами варианте – "Условия продажи: «Купи да шить научи, в церковь води, корми, одевай, обувай, в люди посылай». Над матерью, продавшей дитя, издеваются: «Прогуляла дитя, пьяница, пропойца. Прогуляла, да чужих добываешь. Возьми у меня котенка» и пр.". Если выделить в этом тексте ядро, то его можно было бы передать фразой – мать потеряла дитя в наказание за ее грех. Эта же фраза описывает и то, что рассказывается в истории, являющейся, по-видимому, поздней филиацией реконструируемого мифа о Мокоши [Иванов, Топоров 1983: 175–197], женщине, нарушившей запрет (или – в иных версиях – недостойного поведения, ср. диал.



подмоск.: "Мокосья. Женщина легкого поведения. Таких у нас много было и звали их или мокосьями или птаскухьми", см. [Иванова 1969: 267]), за что она и была наказана Громовержцем: ее, связанной с сыростью, влагой, дом, где находились ее же дети, был охвачен огнем, в котором они, очевидно, должны были погибнуть. В описаниях игр этого класса присутствуют и другие мотивы, заставляющие вспомнить сюжет "основного" мифа. Прежде всего это мотив битья. В игре "В горшки" [Игры 1933: 365, № 856] покупают горшки, которых изображают дети, сидящие скорчившись. Спрашивает покупатель, продажный ли горшок и не худой ли он. Продавец отвечает, что горшок продажный и не худой. Покупатель же как бы проверяет пригодность горшка битьем (легким) ребенка по спине. Другой мотив этих же игр – состязание в беге по кругу, внутри которого стоят пары, в нужный момент разбегающиеся в стороны (трансформированный мотив бега в игре "горелки"). Другой мотив связан с фигурой дитяти, выступающей во всех текстах, описывающих этот класс игр, как лицо пассивное и даже страдательное: его продают или не продают, мать-пьяница "прогуляла дитя", дитятю бьют, он худой, его не собираются крестить и т. п. Можно высказать предположение, нуждающееся, конечно, в дополнительном обосновании, что дитя этих игр могло некогда принадлежать к той категории персонажей, которой в версиях "основного" мифа соответствует наказуемый младший сын Громовержца, выступающий нередко наряду с другими (тремя, семерыми, девятерыми) братьями, но как особо отмеченный персонаж, или же как единственный сын своего грозного Отца, которым он наказывается, но в конце концов оказывается достигшим успеха носителем новой жизни, богатства, плодородия, стада скота, невесты-царской дочери, чудесного средства и т. п. Соединительную связь между младшим сыном Громовержца и дитятей упоминаемых здесь детских игр можно, кажется, видеть в таких персонажах, как третий (младший) сын, чаще всего Иван (иногда даже Иван-третей) русских сказок или же мальчик-с-пальчик, чья изобретательность спасает его и его братьев (иногда и сестер) от гибели, на которую их обрек суровый Отец их (или родители). Если высказанное предположение верно, то присутствие в одной и той же игре дитяти и матери ("плохой"), вар. – дети и матка [Игры 1933: 364, № 852], дает основание думать о происшедшем склеивании двух персонажей из семьи Громовержца, которых он в разных версиях "основного" мифа подвергает порознь (или – или) наказанию.

В этом контексте возникает возможность реконструкции еще одного весьма важного мотива, отсылающего к предыстории "основного" мифа – к сюжету "небесной свадьбы", в которой в архаичных версиях как брачующиеся выступают Солнце и Месяц, и в дальнейшем один из них изменяет другому. Следы этого мотива можно видеть в той цене, которую устанавливает женский персонаж рассматриваемых игр за получение дитяти, ср. стереотипное: "«Кума, кума, продай дитя» – «Что даешь?» Кума отвечает: *Шильце, мыльце, | Белое белильце, | Грош да денежку, | Красную девушку* (ср. [Игры 1933: 364, № 854; 365, № 857] и др.). Красная девушка и есть цена сделки-сговора, своего рода свадебного контракта, который по началу (во всяком случае) удачен, ср. схему образования пар брачующихся в играх в "горелки", "горельши", "двойные горелки" и др. (в контексте "основного" мифа в этих играх важна фигура "поджигателя" и тема огня-пожара, ср. также мотив бега), но может кончиться и разрывом, как в истории небесной свадьбы, вводящим непосредственно в сюжет "основного" мифа. Но здесь, к сожалению, нет возможности говорить на эту тему подробнее.

Игра "салки" в соединении с игрой "прятки" образует мотивную конструкцию, в наибольшей степени отражающую последовательность мотивов, по сути дела сюжет "основного" мифа, во всяком случае его ядра – искал, нашел, преследовал, ловил, вошел в непосредственное соприкосновение, уничтожил-победил. Именно эта мотивная цепочка объединяет обе эти игры в их реконструируемое единство и "основной" миф в рамках более общего противостояния, прения, состязания, где один неизбежно побеждает, другой с той же необходимостью терпит поражение.

Игра в салки засвидетельствована множеством весьма разных версий, объединенных мотивами убегания и ловли-догоняния и мены водильщика в случае, если он не поймал кого-либо из преследуемых им. Это обилие версий игры и усложняет поиск ее прототипа, "пра-салок", если исследователь ставит перед собой задачу реконструкции как определение-восстановление прототипа, и облегчает этот поиск, расширяя поле выбора источников реконструкции – конкретных версий. Но, учитывая, что в последнее время идея прототипа взята под серьезное сомнение, общая задача модифицируется, приобретая иной вид – "бицентрический", при котором первый центр – все поле версий, а второй – ведущая тенденция к отбору версий и

мотивов и к созданию "обобщенного" типа игры (своего рода теоретико-множественного произведения в математическом смысле). Соответственно попытка уяснения сути существования игры в салки заключена в пространство между многообразием эмпирии и непрекращающимися попытками выработки обобщенного образца-образа игры (pattern).

Уместно начать именно с такой "образцовой" версии, которая была, кажется, единой и во всяком случае канонической в московском хронотопе 30-х годов. После определения "ловящего" и "ловимых" начинается сюжет игры. Последние разбегаются в разные стороны от ловящего ("водящего"), сначала подальше, на расстояние, где их безопасность относительно обеспечена, но не выходя за пределы поля игры. Однако вскоре, как бы нуждаясь в более тесной связи с водящим, несколько сближаются с ним, входя в зону опасности, концентрируясь с разных сторон на границе пространства водящего или даже быстрыми пробежками пересекая это пространство, как бы провоцируя водящего своими действиями и устными поддразниваниями ("салочка, салочка, дай колбаски, я не ел|а| с самой Пасхи!"). Оценив ситуацию, осмотревшись, водящий определяет свою ближайшую "жертву" – того, кого, как ему кажется, легче всего настичь и осалить, после чего игра развивается по одному из двух вариантов – или водящий переходит в разряд ловимых, а пойманный начинает водить, или водящий продолжает отлов ловимых до конца и, видимо, становится действительным вожаком всех пойманных, своего рода пастухом своего стада. Нужно заметить, что, когда водящий преследует кого-либо, остальные "ловимые" смелеют, опасно приближаясь к водящему, как бы пытаясь отвлечь его внимание от избранной им "жертвы". Тем самым все "ловимые" действуют как некое единство, хотя, может быть, и не очень тесное. Впрочем, и у жертвы есть некий шанс на спасение. Для этого нужно достичь определенного отмеченного места, называемого домом (им может быть дерево, пенек, холмик, в условиях московского бульвара и скамейка, бортик деревянной песочницы, урна и т. п. Преследуемый, достигнув "дома", кричит: "Чур не я. Дом!" или "Дом (я дома), чур меня!", или какую-либо другую формулу этого типа. Для надежности он может скрестить руки на груди, положив ладони на плечи (верхний крест), или скрестив их так, чтобы ладони оказались подмышками (нижний крест). Учитывая это последнее положение (спрятанные ладони), напрашивается предположение о знаковой

отмеченности ладони в салках и соотнесенности ладони "жертвы" с ладонью "водящего", которой он и салит ловимого. Но безопасность жертвы в ее "доме" имеет временные ограничения (по договору). По истечении "договорного" времени водящий начинает считать (обычно до десяти), после чего хранительные свойства "дома" теряют свою силу. Во время этого счета ловимый старается найти возможность выскользнуть из "дома" и пуститься наутек от водящего, что и удается, если "жертва" ловчее и быстрее своего преследователя. Отчасти этому спасению помогают и другие ловимые, которые опасно приближаются к водящему, пытаясь отвлечь его внимание на себя, что, видимо, подтверждает идею коалиционности всех "ловимых". Если же водящий все-таки настигает преследуемого, он знаково закрепляет этот акт настижения-поймки ударом или хотя бы прикосновением своей ладони к плечу или спине настигнутой жертвы, после чего происходит мена: ловящий переходит в разряд "ловимых", пойманный становится ловящим. Естественно, что "водящий" всегда один (по крайней мере в описываемом типе игры), хотя в каждом цикле он новый, а "ловимых" всегда много.

Если взглянуть на этот игровой сюжет в перспективе "основного" мифа, то общие мотивы и элементы, хотя и в трансформированном виде, выступают с очевидностью. Прежде всего основным оказывается мотив преследования "ловимого", который, стараясь спастись, последовательно укрывается в домах-убежищах, где можно, хотя бы временно, укрыться от преследователя. Но рано или поздно того или иного из "ловимых" преследователю удается поймать и лишить его исходного статуса, вычеркнуть из ряда ("погасить"), путем, если угодно, "знакового" убийства, кодируемого словами-терминами *салить*, *пятнить*, реже *метить* (ср. "меченый", о чорте, бесе, отрицательном персонаже, "сниженных" вариантах противника Громовержца в "основном" мифе). И Громовержец в мифе, и "водящий" в салках обречены на успех, на победу. Разница лишь в том, что событие борьбы и победы Громовержца над своим противником конечно и единократно (иное дело – его воспроизведение в главном годовом ритуале) и, следовательно, не циклично, тогда как игра в салки в принципе бесконечна и циклична.

Несколько слов о предикатах, знаково фиксирующих победу в салках, и их языковом выражении. Легко заметить, что и *салить*, и *пятнить*, и *метить* (отчасти и *ляпать*, ср. игру в "ляпки", анало-

гичную в целом салкам-пятнашкам) имеют по сути дела одну и ту же семантическую мотивировку – все это один и тот же род "клеименя", подтверждающего поражение преследуемого и победу водящего (ср. эпитет *клеименый*, о чорте, хтонических персонажах, преступниках, каторжниках). Наиболее выразительным из этих предикатов нужно считать *сáлить*, слово того же корня, что и *сáло*, terminus technicus игры в салки. Этим словом обозначают "черту, кон, межу, грань, за которою салят" [Даль<sup>4</sup> IV: 13], но словом *сáло* именуют и пространство, очерченное, обведенное, ограниченное салом-чертою, и, если не изменяет память, того, кто оказался "на сале-пространстве, т. е. укрылся от преследования, своего рода Сало, персонифицированное сало, вещество жизни (ср. *жизнь* : *жить* : *жир* как однокоренные слова), ибо *жить* значит нарушить зависимость от закона энтропии, стать неким исключением – пятном-"салом", свидетельствующим о действии эктропического движения. В этой перспективе *сáло* не только пространство, ограниченное одноименной чертой, но и его наиболее отмеченная, более всего воплощающая жизнь часть пространства, сгущение, подобное жиру (ср. *сáло* как плотный слой на поверхности жирного супа или как обозначение по тому же принципу шуги, ледяной кашицы, появляющейся на реке перед ледоставом).

Поскольку слово *сáло* и соответствующее понятие-термин связывают его с ключевым глаголом, описывающим заключительное действие игры, ее результат, *сáлить*, уместно привести два описания игры и ее пространства, одинаково именуемые как *сáло*. Первое – "обводят чертою большой четырехугольник или круг, называемый салом. Играющие становятся по черте этого сала в разных местах, а один, по жребию, водит. Играющие перебегают с места на место через круг или четырехугольник, и водящий ловит их. Но как только преследуемый добежит до черты, он спешит закричать: «я на сале», и здесь ловить его не дозволяется, однако и перебегать за сало, т. е. за черту, также не дозволяется [...]". Второе – "Играющие разделяются на две разные партии, и одна партия становится против другой на расстоянии 10–20 саженей. Посредине между партиями ставится столбик, который называется салом. Затем одна партия вызывает кого-нибудь из другой. Вызванный бежит и старается забежать за сало, а его ловит вся враждебная партия. Если он успеет забежать за сало, то

остается в своей партии; если нет, то переходит в противную. Так делают до тех пор, пока не поймут из противной партии всех, исключая одного. Этому последнему завязывают глаза, и он идет в противную партию с распростертыми руками, причем сколько играющих захватит ими, столько и идут на его сторону. Захваченные идут в противную сторону и ловят всех по одному, пока не переловят всех" [Покровский 1895: 106; Игры 1933: 380–382, №№ 926, 932].

Если применительно к игре предикат "салить", несомненно, связывается с термином "сало", то применительно к "основному" мифу этот предикат скорее всего связан с идеей носителя "жизненного жира" скотом или с тем, кто захватил и имеет в своем распоряжении этот жир-сало, с противником Громовержца: сáление в этом случае может пониматься, например, как удар молнией, метящий этот жир, его обладателя, такой удар, который должен пониматься и как причина "осáления", и как знак победы над противником или переход захваченного им скота к Громовержцу.

О других играх, родственных салкам, но ценных лишь своими деталями, частностями, а не тем общим, что более или менее свойственно всему классу этих игр, — в другом месте. Стоит лишь заметить, что в этих играх много осколков и пережитков далекого прошлого. Нужно помнить, что они существенный (хотя чаще всего пренебрегаемый) источник реконструкции архаической стадии в развитии мифа и ритуала. Детям в их детских играх все еще сняты образы этого давно ушедшего эона. Они нередко приближаются к тем же переживаниям, которые были знакомы и их далеким предкам, погружаются в ту же самую архетипическую глубину, и, пусть даже не понимая смысла игры в самой напряженной его глубине (во всяком случае эта ситуация наиболее часта), хранят образ и цель этих смыслов, ощущают дыхание самого бытия, но осознают все это, когда подходят к тому пределу, за которым уж нет ни спасительного "сала", ни самой жизни, видимой, однако, с этой точки как целокупное, осмысленное и полученное как дар единство.

## ЛИТЕРАТУРА

Balys 1937: *Balys J. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose // Tautosakos darbai*. III. Kaunas, 1937.

Завойко 1915: *Завойко Г. К. Колыбельные и детские песни и детские*

игры у крестьян Владимирской губернии // Этнографическое обозрение. 1915, №№ 1-2.

Иванова 1969: *Иванова А. Ф.* Словарь говоров Подмосковья. М., 1969.

Иваницкий 1890-1891: *Иваницкий Н. А.* Материал по этнографии Вологодской губернии // Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 1890-1891. Т. LXIX. Вып. 1.

Иванов, Топоров 1983: *Иванов В. В., Топоров В. Н.* К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской версии "основного" мифа // Балто-славянские исследования 1982. М., 1983.

Игры 1933: Игры народов СССР. Сборник материалов, составленный В. Н. Всеволодским-Герингросс, В. С. Ковалевой и Е. И. Степановой. М.-Л., 1933.

Капица 1928: *Капица О. И.* Детский фольклор. Песни, потешки, дразнилки, сказки, игры. Л., 1928.

Петров 1890-1891: *Петров К.* Детские игры // Живая старина. 1890-1891. Вып. 1.

Покровский 1895: *Покровский Е. А.* Детские игры. М., 1895.

Романов 1891: *Романов Е. В.* Белорусский сборник. СПб., 1912.

Шейн 1898: *Шейн П. В.* Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах, и т. п. Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. СПб., 1898. Т. 1. Вып. 1.

А. А. ТУРИЛОВ

### **"Неучтенная" система южнославянской книжной тайнописи XV в.**

После выхода в свет капитальной работы М. Н. Сперанского, посвященной тайнописи в славянских кириллических рукописях [Сперанский 1929], примеры криптографии, употреблявшейся как южнославянскими, так и русскими писцами надежно систематизированы. Подавляющее большинство криптограмм, выявленных позднее на протяжении почти трех четвертей столетия, увеличивает лишь число примеров и частотность употребления уже известных тайнописных систем. Исключения из этого правила достаточно редки. Так, в 1984 г. С. Душанич предложил прочтение криптограммы в заставке сербской Псалтыри XIV в. (РГБ, собр. Севастьянова, II, № 5, л. 4), основанное на сложном комбинированном принципе, и уже в силу этого достаточно гипотетическое [Душанич 1984: 137-140].

Принцип криптограммы, рассматриваемой в этой заметке, напротив, весьма прост (почти примитивен) и остается лишь удивляться, почему он имел столь малое распространение.

Рукопись, в которой находится криптограмма (Апостол ГИМ, собр. Хлудова, 42), мало известна исследователям. Основная причина этого заключается в ошибочной датировке кодекса, относимого до последнего времени во всех описаниях к XVI в. (см. [Николова и др. 1999: 33, № 25], здесь же предшествующая библиография). В реальности основная часть рукописи, написанной на бумаге, надежно датируется по водяным знакам последней трети XIV в. (филиграни "рожок" – № 7657 по альбому Ш.–М. Брике (1371–1385 гг.), "лук" – Брике № 786 (1372 г.), "ключи" – Брике № 3846 (1379 г.), "груша" – Брике № 7333 (1385 г.), "голова быка" – Брике № 14446 (1377 г.), "лев" – Брике № 10490 (1377 г.), "олень" – № 2253 в альбоме В. Мошина и С. Тралича, "круг под крестом" – Брике № 3053 (1359–1384 г.)<sup>1</sup>. В связи с такой датировкой по бумаге вероятным становится предположение, что запись, сделанная на л. 228 об. полууставом XVI–XVII вв.: **"Въ лѣто ѕѡчд [1385–1386 г.] ѕыписа се діакомъ Раткомъ"**) вполне может быть копией древней записи писца (конец рукописи утрачен, л. 235–247 сохранились фрагментарно). Правписание рукописи сербское (младшее рашское).

Утраты кодекса дважды восстанавливали. Л. 7–13 написаны в середине XV в. (филигрань "ножницы" – Брике № 3663 (1445 г.), а л. 3–6 – в середине XVI в. (филигрань "корона" – типа Брике № 4833 (1549 г.), л. 1–2 защитные, взяты из сербского пергаменного евангелия XIII в. и добавлены при переплетении.

Тайнопись находится на л. 13 об. (XV в.). Здесь полууставом XV в., возможно, почерком писца написаны две строки: **1. потсгѣньоуиъ 2. рсѣрьшхпксх**. В существующих описаниях запись не только не прочтена, но и не отмечена.

Система тайнописи устанавливается методом исключения. Путем несложных наблюдений нетрудно установить, что это не позиционная тайнопись, связанная с взаимозаменой букв. В простой литорее

---

<sup>1</sup> Подлинная дата кодекса была установлена Т. В. Диановой только при составлении Сводного каталога славяно-русских рукописных книг XIV в. в хранилищах России, стран СНГ и Балтии, выпуск первый которого в настоящее время готовится к печати. Тогда же была обнаружена и тайнописная запись.



("тарабарской азбуке"), основанной на принципе взаимозамены начальных и расположенных в обратном порядке конечных согласных букв алфавита, невозможно написание подряд 5 (первая строка) и даже 6 (вторая строка) согласных и гласных вперемежку с редуцированными. По той же причине отпадает "вспятословие" – чтение справа налево. Кроме того, простая литорея неизвестна в столь ранних южнославянских образцах – она явно проникла на славянские Балканы через русское посредство в XVI–XVII вв. [Сперанский 1929: 18–19].

Не дают положительного результата применение "византийской" системы (основанной на взаимозамене букв, числовое значение которых в сумме составляет цифру порядка – 10, 100 или 1000) и принцип сложения и разложения букв по числовому значению.

В итоге же криптографический принцип записи оказывается чрезвычайно простым и общеизвестным (хотя бы по семинарской дразнилке "Кто писал не знаю, а я дурак читаю")<sup>2</sup>. В основе его лежит поочередное чтение букв верхней и нижней строк: **прости сыгрѣшихъ покусихъ**. Надпись явно не закончена, речь, вероятно, должна была идти о пробе пера и чернил.

При всей незатейливости этого тайнописного приема, его обнаружение в чистом виде (и в довольно раннем образце) может оказаться полезным при расшифровке еще непрочитанных криптограмм, так как в других случаях он вполне мог применяться в качестве вспомогательного, усложняющего основную систему.

## ЛИТЕРАТУРА

Душанић 1984: Душанић С. Редак пример тајне буквице // Саопшьења Републичког Завода за заштиту споменика култура. Београд, 1984. Т. 16.

Николова и др. 1999: Николова С., Йовчева М., Попова Т., Тасева Л. Българско средновековно културно наследство в сбирката на А. Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. София, 1999.

Сперанский 1929: Сперанский М. Н. Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письма. Л., 1929 (= ЭСФ. Вып. 4. 3).

Янин 1998: Янин В. Л. Я послал тебе бересту. М., 1998.

---

<sup>2</sup> На восточнославянской почве наиболее ранний пример подобной "школьной" тайнописи представляет новгородская берестяная грамота № 46 XIV в. (см. [Янин 1998: 68–69]).

**К проблеме возникновения и развития  
синтаксической синонимии  
в раннеславянских переводах с греческого языка**

В греческом языке представлена синтаксическая вариантность (будем называть ее “синтаксической синонимией”), которая обнаруживается в вариантных чтениях разных рукописей одного письменного памятника. Особенно ярко такая вариантность заметна в греческих рукописях Евангелия. Греческой вариантности, являющейся выражением синтаксической синонимии, соответствует славянская синтаксическая синонимия, не совпадающая в ряде случаев текстуально с конкретным греческим чтением. Такая синтаксическая вариантность иногда трактуется как “самостоятельные переводческие приемы” (если исследователь склонен относиться к переводу как к творчеству), а иной раз расхождения между оригиналом и переводом объясняют дефектами в сохранившихся греческих оригиналах (если исследователь склонен видеть в старославянском синтаксисе преимущественно синтаксические кальки)<sup>1</sup>. Между тем, синтаксическая вариантность в славянских переводах могла быть подсказана синтаксической вариантностью, существующей вообще в греческом языке как *языке-архетипе* (в отличие от *языка конкретного греческого оригинала*).

Для примера выбрана конструкция *accusativus cum infinitivo* (acc.c.inf.) и ее синтаксические синонимы<sup>2</sup>. Приводимые здесь данные, относящиеся к греческому языку, почерпнуты из “Грамматики греческого языка Нового Завета” [Blass 1990], поскольку это одна из немногих грамматик, фиксирующая вариантность, представленную в греческих рукописях, это во-первых, а во-вторых, именно греческий язык Нового Завета, превосходно описанный в этой грамматике, — исходный пункт соприкосновения двух письменно оформленных языков.

После глаголов чувственного восприятия: ‘видеть’, ‘слышать’ и т. п. — ὁκοῶ, ὀρώ, βλέπω, θεωρέω и др. (*verba sentiendi*, группа I),

<sup>1</sup> Сюда относятся настойчивые попытки Б. И. Скупского подыскивать в греческих рукописях точные соответствия славянским евангельским чтениям.

<sup>2</sup> Сходный анализ можно было бы проделать и на материале других синтаксических конструкций.

глаголов мыслительной деятельности: 'знать', 'узнавать' и т. п. – γινώσκω, εἶδω, ἐπίσταμαι и др. (verba putandi, группа II) и глаголов речи (verba dicendi, группа III) в греческом языке как синоним основной конструкции, т. е. конструкции acc.c.inf., употребляется accusativus cum participio (acc.c.part.) и дополнительные придаточные предложения с союзом ὅτι [Blass 1990: 327 (§397), 344–346 (§416)], а в группе III также прямая речь и после некоторых глаголов – инфинитив (inf.). Некоторые примеры.

Группа I. Acc.c.inf.: διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν, τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον (И 12, 18)<sup>3</sup>; acc.c.part.: ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ (Мт 24,30); ὅτι: ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαϊος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας (Мт 2,22).

Группа II. Acc.c.inf.: γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείσσονα ὑπαρξίν καὶ μένουσαν (Евр. 10,34); acc.c.part.: ἐγὼ γὰρ ἔγνω δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ' ἐμοῦ (Л 8,46); ὅτι: γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς ἐστὶν ἐπὶ θύρας (Мт 24,33).

Группа III. После verba dicendi в языке Нового Завета не употребляется конструкция acc.c.part., но по-прежнему очень употребительны acc.c.inf., дополнительные придаточные предложения с союзом ὅτι, независимые предложения (прямая речь), а также при некоторых глаголах – inf. Приведем некоторые примеры [Blass 1990: 328]: ἀπαγγέλλειν 'объявлять, возвещать' + acc.c.inf.: Деян 12,14; ἐπαγγέλλεσθαι 'обещать' + inf.: Мк 14,11; Деян. 7,5 и др.; βοᾶν 'кричать' + acc.c.inf.: Деян 25,24; ἐπιμαρτυρεῖν 'свидетельствовать' + acc.c.inf.: I Петр 5,12 и др.; λέγειν 'говорить' + inf.: Иак 2,14 и др.; + acc.c.inf.: Мт 16,13; + ὅτι: Деян 20,23 и др.<sup>4</sup> После глаголов этой группы распространено смешение прямой и косвенной

<sup>3</sup> Далее при ссылках на Новый Завет пользуемся изд.: Novum Testamentum. Curavit Nestle E., elabor. Nestle Erw., Aland K. London, 1969. В "Грамматике" Ф. Бласса отмечено, что после глаголов типа *видеть* в значении 'сознать' (т. е. ближе к группе II) не встречается конструкция acc.c.inf. [Blass 1990: 327 (§397, примеч.2)], все же приведем случай употребления acc.c.inf. после ὄρω из другого памятника (из "Хроники" Иоанна Малалы – VI в., переведенной на древний славянский язык, предположительно в X веке), чтобы показать, что греческий язык первых славянских переводов знает такое употребление: ἐωρακάς ἑαυτὸν μὴ δύνασθαι πολεμῆσαι αὐτῷ – Mal: 215, 6.

<sup>4</sup> Интересно заметить, что в эту группу примеров Ф. Бласс помещает также пример с ὅτι после λέγω (Л 22,70), однако в издании Э. Нестле представлена прямая речь: εἶπαν δὲ πάντες: σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ;

речи, иногда с добавлением ὅτι (recitativum) для указания на начало речи [Blass 1990: 398 ff.]. Кроме того, после λέγω 'говорить' в значении, близком к 'повелевать', может употребляться наряду с *inf.* (Рим 2,22; Апокал 10,9 и др.) и *acc.c.inf.* (Л 19,15 и др.) также ἵνα, например, Мт 20,21: εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοὶ μου [Blass 1990: 321 (§392, примеч. 5)].

Теперь обратимся к славянскому переводу Евангелия. В данном случае нас будут интересовать расхождения, а не редкие соответствия конструкций *acc.c.inf.* в оригинале и *вин. с инф.* (винительный с инфинитивом) в переводе. Нам важно установить сейчас составляющие синтаксической вариантности<sup>5</sup>.

В Евангельских переводах греч. *acc.c.inf.* передается следующими конструкциями:

*вин. с инф.*: вы же кого ма глѣте быти (Мар) – ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; (Мт 16,15); *дат. с инф.*: ни самому \*мнѣ [в рукоп. множ] всемоу миру вѣмѣстити пишомыхъ кнѣигъ (Зогр) – οὐ δὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία (И 21,25); *винительный падеж имени с согласованным с ним предикативным причастием (вин. с прич.)* – это наиболее распространенный способ передачи греч. *acc.c.inf.*, он встречается после глаголов всех трех групп (далее все примеры из Мар): сего ради и противъ емоу нзде народъ. ꙗко слышаша и сътворишь се знаменне – ...ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιθῆναι τὸ σημεῖον (И 12,18); вѣдѣахъ Хѣ самого сшита – ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι (Л 4,41); *придаточное предложение с союзом ꙗко (яко)*: Извѣстно во вѣ людѣмъ. ꙗко Иоанъ прѣкъ вѣ – πεπεισμένος γὰρ ἐστὶν Ἰωάννην προφήτην εἶναι (Л 20,6). Есть примеры передачи греч. *acc.c.inf.* post verba dicendi прямой речью: народъ же стоиши I слышавъ глѣахъ громъ высть. Инн глѣахъ аѣклъ глѣ емоу. (И 12,29)<sup>6</sup>. И, наконец, после глаголов активного речевого воздействия типа 'говорить' = 'приказывать' = 'повелевать' на месте греч. *acc.c.inf.*

<sup>5</sup> Более подробный материал по переводам соответствующих конструкций в Евангельском переводе и авторскую интерпретацию см. в специальных работах А. Потемни, О. Грюнентала, К. Гадерки, Л. Пашнеровой, Р. Ружички, Р. Вечерки, Б. Скупского и др.

<sup>6</sup> Обратим внимание на сосуществование в одной цитате в греческом тексте двух синтаксических синонимов, стоящих в абсолютно равнозначной позиции, после λέγω – *acc.c. inf.* и прямая речь: ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἐστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονῆναι· ἄλλοι ἔλεγον· ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν.

встречаются *дополнительные придаточные предложения с союзом да* (где глагол выступает в форме перфективного презенса): *повелѣ гѣ его да продадуть I и женж его и члѣда* – ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πρᾶθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα... (Мт 18,25); *рече да пригласатъ емоу рабы ты* – εἶπε φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους (Л 19,15). Существует пара более близкого соотношения, когда греч. ἵνα + conjct. соответствует слав. да + перфективный презенс – например: *рци да садете съѣ сны моѣ* – εἶπε ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου (Мт 20,21).

Как видим, все славянские способы перевода греческой конструкции *acc.c.inf.* полностью повторяют синтаксические синонимы, существовавшие в греческом языке (в языке-архетипе). Конечно, часть славянских синтаксических вариантов может объясняться другим чтением греческого оригинала, но это лишь какой-то процент. В остальных случаях мы предполагаем проявление в синтаксической вариантности такого феномена как мышление по подобию. Под феноменом «мышление по подобию» мы понимаем следование примеру авторитетного образца, т. е. примеру языка-архетипа. Греческий язык (как язык-архетип) показал возможности языка, выражающиеся, в частности, в синтаксической синонимии (=синтаксической вариантности), а первые славянские переводы с греческого языка, в свою очередь, представили примеры того, как можно разными способами оформить одну и ту же синтаксическую мысль. Богатая вариантность списков греческого оригинала Евангелия этому способствовала. Если бы предложенная трактовка была ошибочной, и только расхождения в греческих рукописях на самом деле явились причиной синтаксической вариантности в многократно переписывавшихся как греческих, так и славянских рукописях, то мы не обнаружили бы сходную картину синтаксической вариантности в других ранних славянских переводах, греческие оригиналы которых переписывались гораздо реже. По нашему мнению, кирилло-мефодиевские переводы, отражающие вариантность языка-архетипа, с заданной в них синтаксической вариантностью, стали прообразом для последующих переводов.

В качестве сравнительного материала покажем синтаксическую вариантность в переводной историографической литературе, синтаксис которой оставался, как правило, вне поля зрения исследователей, однако этот жанр столь же важен для формирования

славянского литературного языка, как и богословская и богослужбная литература. В "Хронике" Иоанна Малалы (Хрон.И.Малалы) обнаруживаем следующие примеры перевода *acc.c.inf.* – *dat. c inf.*: *σλογчисα σλ'εστι βλεννι въ ωщнын градъ* (V 4,6)<sup>7</sup> – *συνέβη τὴν Ἑλένην καταλθεῖν ἐν τῷ παραδείσῳ* (Mal: 94,23–95,1); *вин. с прич.*: *μητέβше ἄντιωχα ογμρῳша* (VIII 6,28) – *νομίσαντες τεθνάναι τὸν Ἀντίοχον* (Mal: 206,14); *гѣ же и без'плотна соѹща начала* (II 473,21) – *ὁ δὲ Σύρος... ὑπέθετο δὲ ἄσωμάτους εἶναι ἀρχάς* (Mal. 34,8) и мн. др. (это очень распространенный тип перевода *acc.c.inf.* в этом памятнике); *дополнительные придаточные предложения с союзом такъ: и видѣвъ, такъ не можетъ емоу противѹ стати* (IX 11,8–9) – *ἑωρακῶς ἑαυτὸν μὴ δύνασθαι πολεμῆσαι αὐτῷ* (Mal: 215,6); контаминация двух последних способов, когда греч. *acc.c.inf.* передается конструкцией *вин. с прич.* + союз *такъ*: [Персей] *помысли, такъ не могоущю дѣнствовати главоу* (II 477,6) – *ἐλογίσατο μηκέτι ἐνεργεῖν τὴν κόραν* (Mal: 39,3)<sup>8</sup>; *дополнительные придаточные предложения с союзом да* после глаголов активного речевого воздействия, здесь 'приказывать' (в первом примере), 'умолять' (во втором примере): *повелѣвъ да никто же възлазитъ въ полатоу его* (II 473, 14) – *κελεύσας μηδένα συγχωρεῖσθαι εἰσελθεῖν* (Mal: 33,22); *и оумоли ю да оубѣдитъ Пенфиа да цѣлѹетса съ Пенфеоусомъ* (II 480, 2) – *ῥητσε φιλιωθῆναι αὐτὴν τῷ Πενθεῖ* (Mal: 43,11); *независимые предложения, т. е. прямая речь* после глаголов речи: *глющн нѣсмъ взяла Менелаева ничесо же* (V 5,12–13) – *λέγουσα μηδὲν τῶν Μενελάου εἰληφέναι* (Mal: 96,20). Несколько расширив круг сопоставлений, заметим, что греч. *acc.c.part.* после глаголов речи, как правило, сохраняется в этом памятнике в виде конструкции *вин. с прич.*: *его ж [Геракла] глють въ таме лвове възживоуща и палицѹ нмѣща и трн шавлока дрѣжаша* (I, 17) – *ὄν γραφουσιν δωρὰν λέοντος φοροῦντα καὶ ῥάπαλον φέροντα [καὶ] τρία μῆλα κρατοῦντα*. Есть случай замены *acc.c.part.* *прямоу*

<sup>7</sup> Римская цифра обозначает номер книги, первая арабская – страницу, вторая арабская – строку в издании В. М. Истрина.

<sup>8</sup> Этот пример можно сопоставить с таким же редким, однако отмеченным в специальной литературе употреблением *ὄτι* + *acc.c.inf.* [Blass 1990: 327, 328–329], например – Деян 27,10: *θεωρῶ ὄτι μετὰ ὕβρεως... μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν*, а раз встречалась в разговорном греческом языке конструкция *ὄτι* + *acc.c.inf.*, то можно допустить возможность спонтанного использования в греческом языке также конструкции *ὄτι* + *acc.c.part.*

речью: члѣскъ же родъ рече ѡт самого вѣа сплесканъ ѡт земла и дѣшю ѡт него приа. словесноу (IV 357, 16–17) – τὸ δὲ τῶν ἀνθρώπων γένος εἶπεν ὑπ’ αὐτοῦ θεοῦ πλασθέντα ἐκ γῆς καὶ ψυχὴν ὑπ’ αὐτοῦ λαβόντα λογικὴν (Mat: 74,20–75,2). Наоборот, в наших примерах вместо дополнительных придаточных предложений с союзами ὅτι, ὡς в переводе после глаголов слышати, оуслышати употребляется *вин. с прич.*: оуслышавъ же Ноуктевъ... вѣдѣвшю ю (II 481,19) – μαθὼν... ὅτι ἐφθάρη (Mat: 46,5); слышав же нѣ ѡт коего женѣ нѣкоюю египтяныню богатоу въ саноу соущю... (II 465, 8) – ὅστις ἐδιδάχθη ὑπὸ τινος, ὡς γυνή τις Αἰγύπτια τῶν ἐν εὐπορίᾳ... οὐσῶν... ἐμοιχεύετο (Mat: 24, 4–5).

Как видим, так же как в славянском переводе Евангелия, в переводе “Хроники” Иоанна Малалы обнаруживается свободная синтаксическая вариантность, которая, в целом, соответствует синтаксической вариантности, существующей в греческом языке, не вступая, однако, в противоречие с параллельными славянскими синтаксическими конструкциями.

В переводе “Александрии” [Истрин 1893] обнаруживаем подобную же картину синтаксической вариантности. Греч. *acc.s.inf.* передается с помощью следующих конструкций: *вин. с инф.*<sup>9</sup>; *дат. с инф.*; *вин. с прич.* – предпочтение отдается сочетаниям с соуща (конструкция *вин. с прич.* очень распространенная и употребляется в этом памятнике после всех трех выделенных выше групп глаголов); *прямая речь* после глаголов речи с изменением, соответственно, падежа субъекта; есть случай контаминации *прямой речи с союзом ѡко* (ср. греч. конструкцию с ὅτι *recitativum*): глѡщи ѡко азъ есмн родила (III 30, 100)<sup>10</sup> – φάσκουσα αὐτὴν αὐτὸ τετοκέναι; *дополнительные придаточные предложения с союзом ѡко*.

А. Хёхерль в своей монографии, посвященной технике перевода “Истории иудейской войны” Иосифа Флавия (предположительно, древнерусский перевод XI в.), отмечает определенные приемы передачи греч. *acc.s.inf.* [Höcherl 1970: 145–146]. Это: *придаточные дополнительные предложения с союзом ѡко*; после безличных выражений – *дат. с инф.*; для указания на чьи-либо слова (= начало предложения) косвенная речь переводится в *прямую* иногда с союзом

<sup>9</sup> Далее ввиду экономии места примеры опускаются.

<sup>10</sup> Римская цифра обозначает номер книги, первая арабская цифра – номер главы, вторая арабская – страницу издания В. М. Истрина.

**так**о [Höcherl 1970: 28–29]. Подобного рода функцию союзов отмечают также в греческом языке. Тем не менее при всем внешнем сходстве, Р. Ружи́чка остерегся причислить сходное употребление **так**о к грецизмам, поскольку оно “едва ли могло ощущаться чуждым” [Růžička 1958: 180]. На основании общих наблюдений для языка этого перевода мы склонны видеть здесь стилистический = переводческий прием, а не элемент влияния или прорыва греческого языка.

Помимо наблюдений, относящихся к синтаксической синонимии, возникновение которой мы объясняем феноменом, названным нами “мышлением по подобию”, заметим новые тенденции, проявляющиеся в послекрилломефодиевских переводах. Феномен мышления по подобию (как факт мышления на языке-архетипе или по типу языка-архетипа) характерен для наиболее ранних переводов с греческого языка. По мере продвижения во времени, явление это затухает, уступая место двум другим тенденциям: 1) тенденции к складыванию собственно славянских переводческих средств, когда появляются разного рода синтаксические контаминации, учитывающие параллельные образования в двух языках, и 2) тенденции к повторению способов перевода, способствующей формированию более или менее устойчивых переводческих приемов.

#### ЛИТЕРАТУРА

Истрин 1893: *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов. М., 1893.

Blass 1990: *Blass F., Debrunner A.* Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearbeitet von Rehkopf F. 17. Auflage. Göttingen, 1990.

Höcherl 1970: *Höcherl A.* Zur Übersetzungstechnik des altrussischen «Jüdischen Krieges» des Josephus Flavius. München, 1970.

Růžička 1958: *Růžička R.* Griechische Lehnsyntax im Altslavischen // Zeitschrift für Slavistik. 1958. Bd. 3. Hft. 2–4.



## СЛОВАРИ

БЕР - Български етимологичен речник / Съставили Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Займов, Ст. Илчев и др. София, 1971-. Т. 1-.

Геров - Геров Н. Речник на българският език. Т. I-V. Пловдив, 1895-1904.

Даль<sup>2</sup> - Даль В. Словарь живого великорусского языка. Изд. 2-е. М., 1955 (= СПб.-М., 1860-1882). Т. I-IV.

Даль<sup>3</sup> - Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., 1903-1909. Т. I-IV.

Даль<sup>4</sup> - Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 4-е изд. СПб.-М. [б.г.]. Т. I-IV.

НовгСл - Новгородский областной словарь / Отв. ред. В. П. Строгова. Новгород, 1992-2000. Вып. 1-13.

ОрлСл - Словарь орловских говоров. Вып. 1-10. Ярославль, Орел, 1989-1999.

РБЕ - Речник на българския език. София, 1977-. Т. I-.

ПРОДД - Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век. София, 1974.

РСБКЕ - Речник на съвременния български книжовен език. София, 1955-1959. Т. I-III.

РЧД - Речник на чуждите думи в българския език. София, 1982.

СДР - Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / Гл. ред. Р. И. Аванесов. М., 1988-. Т. I-.

Сл XVIII в. - Словарь русского языка XVIII в. Л., 1987. Вып. 3.

СлРЯ - Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1975-. Т. 1-.

СлСрУрД - Словарь русских говоров Среднего Урала. Дополнения / Под ред. чл.-корр. РАН А. К. Матвеева. Екатеринбург, 1996.

Срезн. - Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893-1912. Т. I-III.

СРНГ - Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1-23), Ф. П. Сороколетов (вып. 24-). Л., СПб., 1966-. Вып. 1-.

СРЯ - Словарь русского языка. Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1957-1961. Т. I-IV.

СС - Старославянский словарь (по рукописям X-XI вв.). Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.

ССРЛЯ - Словарь современного русского литературного языка. М.-Л., 1960. Вып. 10.

Ушаков - Толковый словарь русского языка. М., 1939. Т. 3.

Фасмер - Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986-1987 (=1964-1973). Т. I-IV.

ЭССЯ - Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974-. Вып. 1-.

- ЯрослСл – Ярославский областной словарь. Ярославль, 1981–1991.
- Brückner – *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957 (= 1927).
- Chantraine – *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris, 1970. T. II.
- DOW – *Deutsch-obersorbisches Wörterbuch.* Bautzen, 1989. T. I (A–K).
- Ernout-Meillet – *Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris, 1967.
- Kott – *Kott F. St.* Česko-německý slovník. D. I–VII. Praha, 1878–1893.
- Kral – *Kral J.* Serbsko-němski slovník hornjołužiskeje řeči. Bautzen, 1920.
- Lampe – *A Patristic Greek Lexicon.* Edited by G.W.H.Lampe. Oxford, 1976.
- Miklosich – *Miklosich Fr.* Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.
- Pfuhl – *Pfuhl Chr. Tr.* Obersorbisches Wörterbuch. Fotomechanischer Neudruck. Domowina-Verlag Bautzen, 1968.
- Pokorny – *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949–1959. Bd. I–II.
- Rězak – *Rězak F.* Němsko--serbski wšowědny slovník hornjołužiskeje řeči. Bautzen, 1920.
- SJS – *Slovník jazyka staroslověnského.* Praha, 1968–1998. T. I–IV.
- SP – *Słownik prasłowiański / Pod red. F. Sławskiego.* Wrocław etc., 1974–. T. 1–.
- SSJ – *Slovník slovenského jazyka.* Bratislava, 1959–1968. D. I–VI.
- ThWNT – *Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament.* Hrsg. von G. Kittel. Stuttgart, 1966–1979. Bd. I–X [+ Register].
- Vries – *Vries J. de.* Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1961.

## ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ

англос. – англосаксонский	пирд. – пирдопский
болг. – болгарский	польск. – польский
волог. – вологодский	родоп. – родопский
греч. – греческий	рус. – русский
д.-в.-н. – древневерхненемецкий	свердл. – свердловский
дедаг. – дедагачский	севл. – севлиевский
др.-англ. – древнеанглийский	сербск. – сербский
др.-дат. – древнедатский	силез. – силезский
др.-инд. – древнеиндийский	слвц. – словацкий
др.-ирл. – древнеирландский	словен. – словенский
др.-исл. – древнеисландский	твер. – тверской
др.-рус. – древнерусский	ст.-слав. – старославянский
и.-е. – индоевропейский	ст.-чеш. – старочешский
казан. – казанлыкский	с.-х. – сербохорватский
калуж. – калужский	тур. – турецкий
лат. – латинский	страндж. – странджанский
лит. – литовский	троян. – троянский
лтш. – латышский	укр. – украинский
н.-луж. – нижнелужицкий	хет. – хеттский
нем. – немецкий	ц.-слав. – церковнославянский
новг. – новгородский	чеш. – чешский
олон. – олонецкий	шв. – шведский
орл. – орловский	яросл. – ярославский
печор. – печорский	

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ

Ac – Ассеманиево евангелие. Изд.: *Kurz J. Evangeliaŕ Assemanŕv. Codex Vaticanus 3. Praha, 1955.*

БД – Българска диалектология.

Вук – Вуканово евангелие. Изд.: *Врана J. Вуканово еванђеље. Београд, 1967.*

Галич – Галичское (Галицкое) евангелие. Изд.: *Архим. Амфилохий. Четвероєвангелие Галичское 1144 г., сличенное с древлеславянскими рукописными евангелиями XI–XVII вв. и печатными: Острожским 1571 г. и Киевским 1788 г., с греческим евангельским текстом 835 г. М., 1882–1883. Т. I–III.*

Добром – Добромирово евангелие. Изд.: *Добромирово евангелие. Български паметник от началото на XII в. / Подг. за изд. Б. Велчева. София, 1975.*

ЕвАрх – Архангельское евангелие. Изд.: Архангельское Евангелие 1092 года. Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели / Изд. подг. Л. П. Жуковская и Т. Л. Миронова. М., 1997.

ЕвМст – Мстиславово евангелие. Изд.: Евангелие Мстиславово. Апракос Мстислава Великого / Изд. подг. Л. П. Жуковская, Л. В. Владимирова, Н. П. Панкратова. Под ред. Л. П. Жуковской. М., 1983.

Зогр – Зографское евангелие. Изд.: *Jagić V. Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus. Berolini, 1879.*

Изб 1073 – Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). София, 1991–1993. Т. 1–2.

Клоц – Клоцов сборник. Изд.: *Dostál A. Clozianus. Praha, 1959.*

Мар – Мариинское евангелие. Изд.: *Ягич И. В. Мариинское четвероевангелие. Graz, 1960.*

Мин 1095–96 – Миния служебная, сентябрьская 1095–96 гг. Изд.: Служебные Минии за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по рукописям 1095–1097 гг. Труд И. В. Ягича. СПб., 1886.

Мин 1097 – Миния служебная, ноябрьская, 1097 г. Изд.: Служебные Минии за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по рукописям 1095–1097 гг. Труд И. В. Ягича. СПб., 1886.

Остр – Остромирово евангелие. Изд.: *Востоков А. Остромирово евангелие. СПб., 1843.*

Супр – Супрасльская рукопись. Изд.: *Северьянов С. Супрасльская рукопись. СПб., 1904; Заимов Й, Капалдо М. Супрасльски или Ретков сборник. София, 1982–1983. Т. 1–2.*

Тырн – Тырновское евангелие. Изд.: *M. Valjavec. Trnovsko tetrajevanĝelije XIII vjeka // Starine. Zagreb, 1888. Knj. XX–XXI.*

Хрон.И.Малалы – Хроника Иоанна Малалы. Изд.: *Истрик В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе / Изд. подг. М. И. Чернышева. М., 1994 (переизд.).*

Mal – Хроника Иоанна Малалы. Изд.: *Ioannis Malalae Chronographia. Rec. L. Dindorf. Bonnae, 1831.*

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ж. Ж. Варбот.</i> Дунай в русской народноэтимологической реинтерпретации.....	5
<i>Г. К. Венедиктов.</i> О помете “редко(е)” в толковых словарях болгарского языка.....	9
<i>Е. М. Верещагин.</i> Архистратига пољ сѣтъло... Древнейшая служба архангелу Михаилу.....	13
<i>Е. И. Демина.</i> К изучению типологии процесса взаимоотношения традиционной и народной лексики на преднациональном этапе становления современных славянских литературных языков (постановка вопроса).....	30
<i>М. И. Ермакова.</i> Роль пуризма в истории верхнелужицкого литературного языка.....	36
<i>В. С. Ефимова.</i> О выражении значения суперлатива формами компаратива в старославянском языке.....	42
<i>Л. Э. Калнынь.</i> Об отражении языковых и графических представлений носителя диалекта в зеркале “наивного письма”.....	46
<i>Г. П. Клепикова.</i> Наблюдения над лексикой румынских переводов славяно-румынских текстов конфессионального характера (XVI–XVII вв.).....	53
<i>Л. В. Куркина.</i> К этимологии русск. диал. <i>тѣмиться</i> .....	60
<i>И. И. Макеева.</i> Семантика “пространства” и “времени” у глаголов движения.....	64
<i>К. А. Максимович.</i> Славянизмы современного русского языка и кирилло-мефодиевское наследие.....	72
<i>Ф. Р. Минлос.</i> Болгарские этимологии ( <i>ба́цам, бу́ло</i> , диал. <i>бинѣчки</i> )..	84
<i>Т. Н. Молошная.</i> Постпозитивный артикль в современных болгарском и шведском языках (сопоставительный анализ).....	87

<i>А. С. Новикова.</i> Древнерусские списки Евангелия – драгоценная сокровищница сведений по истории преславской редакции библейских книг.....	96
<i>А. А. Пичхадзе.</i> Несколько редких древнеболгарских слов в древнейшем переводе "Повести о Варлааме и Иоасафе".....	104
<i>Л. Н. Смирнов.</i> Заметки по словацкой исторической лексикологии. 2....	109
<i>Т. А. Сумникова.</i> О формах дательного-местного и родительного-винительного падежей местоимений с основой <i>теб-</i> или <i>себ-</i> в некоторых памятниках восточнославянской письменности раннего периода.....	115
<i>В. Н. Топоров.</i> О некоторых детских играх как трансформации мотивов "основного" мифа (прятки – салки-пятнашки и др.).....	121
<i>А. А. Турилов.</i> "Неучтенная" система южнославянской книжной тайнописи XV в. ....	143
<i>М. И. Чернышева.</i> К проблеме возникновения и развития синтаксической синонимии в раннеславянских переводах с греческого языка....	146
Словари.....	153
Языки и диалекты.....	155
Принятые сокращения источников.....	155

# FOLIA SLAVISTICA

Рале Михайловне Цейтлин

Ответственный редактор  
доктор филологических наук А. Ф. Журавлев

ИД № 01574 от 17 апреля 2000 г.

